



Анатолий Рыбаков

Дети Арбата.
Книга 3. Прах и пепел

ФТМ



Дети Арбата

Анатолий Рыбаков

Прах и пепел

«ФТМ»

1991-1994

Рыбаков А. Н.

Прах и пепел / А. Н. Рыбаков — «ФТМ»,
1991-1994 — (Дети Арбата)

ISBN 978-5-457-07163-6

Трилогия «Дети Арбата» повествует о горькой странице истории России – о том времени, которое называют «периодом культа личности». Роман «Прах и пепел» (третья книга трилогии) завершает рассказ о судьбах героев книг «Дети Арбата» и «Страх».

ISBN 978-5-457-07163-6

© Рыбаков А. Н., 1991-1994
© ФТМ, 1991-1994

Содержание

Часть первая	5
1	5
2	9
3	16
4	19
5	22
6	25
7	28
8	31
9	36
10	43
11	47
12	53
13	57
14	61
15	66
16	72
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Анатолий Рыбаков

Прах и пепел

*Погиб и кормищик и пловец!
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную свою
Сушу на солнце под скалою.*

А. Пушкин

Часть первая

1

– Повезло тебе, дорогуша! Первый раз пошел на почту, и бац – твоя телеграмма! Я сразу на вокзал.

Глеб улыбался, обнажал белые зубы, поглядывал на Сашу.

– С хозяйкой своей я договаривался на одного, приводить второго неудобно. Поищем тебе отдельную квартиру.

В камере хранения чемодан взяли, рюкзак – нет: «Не принимаем без замков». Саша сунул приемщику рубль: «Ладно, начальник, сегодня заберем». Сидор поставили рядом с чемоданом, квитанцию выдали на два места.

– Пройдемся пешком, – предложил Саша, – заодно и город покажешь.

Продовольственный магазин, промтовары, канцтовары, булочная, аптека... Как и в Калининe, как и всюду. Уныло. Старые одно- и двухэтажные деревянные дома. Изредка каменные – на них таблички с названием учреждений на русском языке и русскими же буквами на башкирском. Только это и напоминало, что здесь столица Башкирской автономной республики. А так – провинция, булыжная мостовая, кое-где деревянные тротуары, а где и вовсе без тротуаров. Пыль.

– Как тебе наша Уфа?

– Тоска российских городов...

Так он ответил Глебу. А про себя подумал: может быть, это его тоска... Опять, в который раз, все начинать сначала.

– Жить можно, – сказал Глеб, – башкиры народ мирный, гостеприимный. Однако обидчивый. Ты с ними, дорогуша, не задирайся.

– Еще чего!

– Сидели мы на днях в компании, один интеллигент ленинградский, молодой, такому же молодому башкиру говорит вроде, мол: «Я с тобой, старик, согласен». Понимаешь, дорогуша? Слово «старик» произнес, как это у ленинградских интеллигентов принято. А башкирин его по морде хрясь! «Какой я тебе старик?!» На слово «старик» обиделся. Хоть бы девки за столом сидели, значит, перед девками унизил. Нет, не было девок, одни мужики.

Глеб показал на павильон с надписью «Кумыс».

– Видишь, кумысом торгуют? Кобылье молоко, башкиры гонят из него араку вроде нашей браги, даже спирт гонят. Пьют будь здоров, на Коран внимания не обращают. «Деньга есть – Уфа гуляем, деньга нет – Чишма сидим».

- Что за Чишма?
- Станция возле Уфы, не заметил?
- Не обратил внимания.
- Выпить любят, а закусить еще больше. У них мясо в основном: конина, баранина.

Бешбармак ничего, есть можно.

Они шли по центру города, по улице Егора Сазонова – эсер, террорист, убил царского министра Плеве. Уфимец он, что ли, был? Часто стали попадаться люди в энкаведешной форме, в начищенных сапогах, галифе, рыла квадратные, неподвижные.

- Что-то много их здесь, – заметил Саша.
- Видишь? – Глеб показал. – Управление НКВД.

Длинное двухэтажное кирпичное здание, окна зарешечены толстыми металлическими прутьями, четыре подъезда выступают до середины тротуара – глухие коробки, закрытые тяжелыми двустворчатыми дверьми без стекол.

- Глеб, ты знал, что в Калинин вводятся паспортные ограничения?
- Знал.
- Почему не сказал?
- Как это так: не сказал? Я точно помню свои слова: «Сегодня Калинин не режимный город, завтра станет режимным». Это что?
- Ну, намек...
- Такой намек и ребенок поймет. Тем более я предложил тебе уехать.
- Намек я понял уже в милиции.
- В твоём положении надо быстрее соображать.
- Получилось даже лучше: документы на руках, с работы уволен, с квартиры выписан.

Ладно, скажи: начали халтуру?

– Дорогуша! Как ты можешь? «Халтура»! Да ты что? Бригада под руководством самого Семена Григорьевича Зиновьева.

- Он тому Зиновьеву не родственник?
- Даже не однофамилец. Бывший солист Мариинского театра, автор книги «Современные бальные танцы». Дам тебе почитать, узнаешь, что о танцах говорили Сократ и Аристотель. Семен – могучая личность, крупный деятель, арендовал Дворец труда в самом центре, договора заключает с заводами и фабриками. Тридцать рублей с носа: фокстрот, румба, танго, вальс-бостон. – Глеб сбавил шаг, бросил взгляд на Сашин костюм, туфли. – Другого костюма у тебя нет?

- Чем этот плох?
- Немодный. И туфли... Туфли, дорогуша, это самое главное! Будешь им показывать, в какую сторону ногами двигать, на что они будут смотреть? На твою прекрасную шевелюру, на твои блядские глазки? Нет, дорогуша, на твои ножки будут смотреть. И если увидят стоптанные или грязные ботинки, то, согласишься, дорогуша, в восторг от твоего танца не придут. Не-эс-те-тич-но! Галстук у тебя есть?

- В жизни не носил.
- Придется носить. И ботиночки сегодня же купить. Черные. Черные туфли подходят к любому костюму. Отнесись серьезно – это не какие-то там танцы-шманцы. Это, дорогуша, идеология, учти.

- Даже так?
- Собирается группа в тридцать человек, ты как думаешь: никого это не интересует? И не одна группа. Вся Уфа, и русские, и башкиры, все хотят танцевать западноевропейские танцы. Значит, кому положено, должен за этим следить. Ладно, пошли, увидишь нашу контору.

Они свернули с улицы Егора Сазонова в переулок. Возле домика с вывеской «Гастрольно-эстрадное бюро» толпились люди.

– Подожди меня здесь. – Глеб скрылся в дверях.

Саша отошел в сторону. В толпе многие, видимо, знали друг друга, окликали по именам, переходили от группы к группе, обнимались, целовались, здоровались, разводили руками: «Сколько лет, сколько зим!» Во всем сквозило нечто экзальтированное, наигранное... Как он будет жить, как будет работать рядом с ними? Чужие люди, чужие нравы. Может быть, плюнуть? Поискать работу в каком-нибудь гараже?

Вышел Глеб, показал бумажку с адресом.

– В самом центре. Гостиница только для народных и заслуженных, а всех прочих по квартирам. Видал ты эту биржу? Фокусники, гипнотизеры, танцоры, куплетисты... Башкиры с кураями. Знаешь курай?

– Нет.

– Дудочка вроде свирели, музыка заунывная... Толкуются у бюро, сколачивают бригады, главное, чтобы хороший администратор попался – едет вперед, рекламирует где-нибудь в глухомани – живой актер! Важно хоть одно знаменитое имя на афише. Тут, дорогуша, всяких Качаловых, Кторовых, Церетели, Улановых – полно! И не придерешься. Смирнов-Качалов, чувствуешь? Мухлеж идет... – Он покосился на Сашу. – Чего молчишь, дорогуша?

– Думаю. Для меня ли это занятие? Сам говоришь – мухлеж. А я к этому н е приучен.

– По-честному жить хочешь?

– Именно.

– И будешь жить по-честному, отрабатывать свои часы и получать зарплату. Все по закону, дорогуша. За этим следит наша начальница Мария Константиновна, ты ее еще увидишь, деловая баба, на ходу подметки рвет и интеллигентная притом. И учти, тебе самому придется платить за квартиру.

– Понятно.

Дом на углу вытянулся одной стороной по улице Аксакова, другой – по улице Чернышевского. Крохотная комнатка в небольшой квартире. Но хоть не за занавеской, как было в Калинине. Уже хорошо. Хозяйка, озабоченная, рассеянная, никак не могла найти очки, пеняла детям: подевали, наверно, куда-то. Девочка и мальчик лет одиннадцати-двенадцати ушли на поиски в кухню, мальчик кашлял. «Не дохай, – раздраженно покрикивала мать, – очки ищи!»

Наконец очки были найдены.

– А где направление? – спросила хозяйка.

Глеб обаятельно улыбался:

– Мария Константиновна торопилась, дала адрес, а направление выпишет в понедельник. Адрес написала своей рукой, вы же знаете ее почерк.

Хозяйка недоверчиво разглядывала бумажку.

– Вы сомневаетесь? – Саша опустил руку в карман. – Вот мой паспорт.

– Мне ваш паспорт не нужен, я вас прописывать не буду.

Не надо прописываться! Замечательно! Сразу отпали все сомнения – Саша вспомнил свои унижения с пропиской в Калинине. Здесь этого не будет. Гастролер объезжает за год много городов, что же, ему в каждом прописываться? Не хватит листков в паспорте. Ладно, будет заниматься танцами, черт с ним!

– Все оформит Мария Константиновна, – пообещал Глеб.

– Только имейте в виду... – Хозяйка вытолкала детей в соседнюю комнату, прикрыла дверь. – Я попрошу вас женщин на ночь не приводить.

– Что вы? Как можно?

– Можно-можно. – Она закивала головой. – Перед вами тут артист Цветков жил. Мало что пьяница, еще женщин приводил. Приличный на вид человек, а такие безобразия выстраивал. У меня ведь дети.

– Я постараюсь вас не беспокоить, – сказал Саша.

2

23 августа 1937 года в Георгиевском зале Кремля был устроен прием в честь летчиков Громова, Юмашева и штурмана Данилина, совершивших беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Америку.

За столами, стоявшими перпендикулярно к сцене, сидели крупные партийные и советские работники, высшие военачальники, ведущие авиаконструкторы, прославленные летчики, известные деятели науки и культуры. Приглашением гостей ведали специальные люди, хорошо осведомленные о значении каждого гостя, об отношении к нему товарища Сталина, о надежности в смысле поведения на приеме и во всех других смыслах. Эти же специальные люди решали, кого приглашать с женой, кого без жены, кому за каким столом и на каком месте сидеть – товарищу Сталину спокойнее видеть за ближайшими столами знакомые лица. Товарищ Сталин не любит спрашивать: «Кто это такой?» Товарищ Сталин сам знает, кто это такой!

Столы были уставлены винами и закусками, никто к ним не притрагивался: главный стол, стоявший параллельно к сцене и перпендикулярно к остальным столам, в некотором отдалении от них, тоже был уставлен винами и закусками, но за бутылками, графинами, бокалами, за вазами с фруктами виднелся ровный ряд пустых стульев – руководители партии и правительства еще не пришли. Они придут ровно в семь часов. В ожидании этой волнующей минуты гости негромко, сдержанно переговаривались между собой. На часы никто не смотрел. Посматривать на часы значило бы выражать нетерпение, это бестактно, нелояльно по отношению к товарищу Сталину.

Значительность момента подчеркивали и официанты, крепкие, суровые ребята в черных костюмах и белых манишках, с перекинутыми через руку салфетками, с бесстрастными лицами, застывшие у столов, возвышаясь над сидевшими гостями. Еще по два официанта стояли у дверей. Все знали, что официанты – штатные сотрудники НКВД, они дополняют охрану, стоящую во всех проходах, на всех этажах и лестницах дворца, и внештатных сотрудников НКВД, которые в достаточном количестве имеются за каждым столом.

Ровно в семь часов открылись боковые двери и в зале появился Сталин в сопровождении членов Политбюро. Все встали, задвигая стульями, зал взорвался бурными аплодисментами. Овация продолжалась, пока вожди проходили к столу, и наконец, встав каждый на своем месте лицом к гостям, зааплодировали в ответ. Зал хлопал вождям, вожди хлопали залу. Потом члены Политбюро повернулись к Сталину и хлопали ему. Зал тоже хлопал Сталину, протягивая ладони к тому месту, где он стоял, будто пытаясь дотянуться до товарища Сталина. Не хлопали только официанты, по-прежнему неподвижно стоявшие у столов, но уже не возвышаясь, как раньше, над сидевшими: сидевшие встали, и многие из них оказались выше, покрупнее, поосанистей официантов.

Сталин хлопал, едва касаясь одной ладонью другой, держа их над самым столом, почти не сгибая локтей, и из-под опущенных век медленно обводил тяжелым взглядом стоявших поблизости. Разглядев и узнав их, он перевел взгляд в глубину зала, но за частоколом протянутых к нему рук никого не мог разглядеть. Тогда он перестал хлопать и опустил на стул. Вслед за ним опустили на стулья стоявшие рядом Молотов и Ворошилов, потом остальные члены Политбюро. Но гости продолжали стоять и хлопать. Тогда Сталин два раза слегка приподнял и опустил руку, приглашая гостей садиться. Но те не могли остановиться в выражении переполнявшего их восторга. Они пришли сюда не для того, чтобы пить водку и коньяк, шампанское и «Мукузани», не для того, чтобы есть икру, лососину, паштеты, жульен из шампиньонов и котлеты «по-киевски». Они пришли сюда, чтобы увидеть товарища Сталина, выразить ему свою любовь и преданность.

Сталин что-то сказал Молотову, тот встал, поднял обе руки ладонями вперед, как бы говоря: «Все, товарищи! Достаточно! Товарищ Сталин понимает и ценит ваши чувства, но мы собрались здесь для определенного дела, давайте приступим. Прекратите, пожалуйста, овацию, садитесь!»

Первыми перестали хлопать стоявшие близко к президиуму. Вокруг них засуетились официанты, разливая по рюмкам и бокалам водку, вино, кому что требуется.

Но остальные гости продолжали стоять и хлопать, хотели, чтобы товарищ Сталин увидел бы и их, прочитал бы на их лицах и в их глазах беззаветную любовь и обожание. Молотов поднял руки выше, помахал ладонями, давая понять гостям в середине зала, что члены Политбюро видят их, все понимают, все ценят, но просят их тоже сесть. Похлопав в благодарность за это обращение еще несколько секунд, опустили на свои места и в середине зала. И вокруг них тоже засуетились официанты, разливая вино по бокалам.

Продолжали стоять и хлопать только гости с самых крайних столов. Теперь, когда впереди все уже сидели, они надеялись, что Сталин увидит и их тоже. Молотов посмотрел на кого-то, стоявшего у боковой двери, тот дал знак еще кому-то, и в ту же минуту официанты у последних столов стронулись со своих мест, степенно, но настойчиво заговорили: «Товарищи, товарищи, садитесь, пожалуйста... Товарищ! Вас просят сесть! Давайте, давайте, товарищи, не задерживайте...» Даже стали подвигать стулья, задевая гостей, и почетные гости быстренько уселись на свои места. И так же, как за другими столами, официанты наполнили их рюмки и бокалы водкой и вином. Молотов встал, и в ту же секунду официанты замерли у столов.

Молотов упомянул о небывалых достижениях советского народа во всех областях жизни. Эти успехи особенно видны на примере нашей могучей авиации, в развитии которой Советский Союз идет впереди всего мира. СССР стал великой авиационной державой, чем обязан гениальному руководству товарища Сталина, который лично уделяет огромное внимание развитию авиационной промышленности, по-отечески пестует и воспитывает летчиков, славных соколов нашей страны.

Зал опять взорвался овацией, гости задвигали стульями, встали, захлопали, протянув ладони к товарищу Сталину, теперь эта овация предназначалась лично ему, его имя было наконец названо.

Сталин встал, поднял руку, в зале воцарилась тишина.

– Продолжайте, товарищ Молотов, – сказал Сталин и сел.

Все заулыбались, засмеялись, опять захлопали сталинской шутке.

Молотов хотел продолжать, однако за первым столом, где сидели летчики, поднялся Чкалов, повел широкими плечами, набрал воздуха в легкие и крикнул:

– Нашему дорогому Сталину – ура, ура, ура!

И весь зал подхватил: ура, ура, ура!

Сталин усмехнулся про себя. Не полагается перебивать руководителя правительства. Но ведь это Чкалов, его любимец, человек, который олицетворяет русскую удаль, лихость, бесшабашность, Чкалов – величайший летчик ЕГО эпохи, ЕГО времени. Ничего не поделаешь, придется Молотову примириться с тем, что этот смельчак мало знаком с этикетом.

Молотов был опытный председатель, успокоил зал и продолжил:

– Свидетельством могущества нашей авиации служит невиданное в истории человечества достижение наших доблестных летчиков: Громова, Юмашева, Данилина. Совершив перелет через Северный полюс в Америку, в город (Молотов посмотрел в бумажку) Сан-Джасинто в Калифорнии, они установили мировой рекорд дальности беспосадочного полета.

Сталин снова усмехнулся про себя. Молотов отомстил Чкалову за то, что тот перебил его. Даже не упомянул о его полете. А ведь дорогу проложил Чкалов: первым через Север-

ный полюс в Америку перелетел Чкалов. Самолюбив Молотов, обидчив. Туповатые люди всегда обидчивы.

Свое выступление Молотов закончил здравицей в честь Громова, Юмашева, Данилина.

Снова аплодисменты, крики: «Ура советским летчикам!» Но никто уже не вставал. Вставать полагается только в честь товарища Сталина. Встали, когда встал сам товарищ Сталин, чтобы чокнуться с приглашенными к столу президиума летчиками Громовым, Юмашевым и Данилиным. Но как только товарищ Сталин сел, все тоже быстренько уселись и принялись за закуску, проголодались, слушая длинную речь Молотова, да и дома сегодня, наверное, не слишком налегали на еду в предвкушении обильного ужина.

Как всегда, концертную программу открыл ансамбль красноармейской песни и пляски под руководством Александрова, и, как всегда, кантатой о Сталине, сочиненной тем же Александровым. Ее выслушали благоговейно, перестав есть. Но как только ансамбль перешел к следующему номеру, опять налегли: мужчины – на водку, дамы – на вина, все вместе – на закуску.

Ансамбль сменили певцы Козловский, Максакова, Михайлов, потом Образцов с куклами... Вожди смотрели на них, обернувшись к сцене, а гости пили и ели, видели это и слышали сто раз.

В промежутках между выступлениями артистов произносились тосты, все, конечно, за товарища Сталина. Ведущий авиационный конструктор сказал: «Товарищ Сталин хорошо знает людей, работающих в авиации, подсказывает решение сложных технических проблем, учит нас, конструкторов, далеко смотреть в будущее».

И опять ели и пили за товарища Сталина. И Сталин тоже пил, как обычно, мало закусывая. ОН любил такие приемы, понимал их значение, не даром цари устраивали балы, не случайно Петр завел свои ассамблеи. Все это придает правлению властителя ореол праздничности, дает окружению возможность почувствовать ЕГО расположение, отметить ЕГО достижения, ЕГО победы.

Народ любит победы и не любит поражений, помнит только свои победы и не желает помнить поражений. Помнит победу Дмитрия Донского и Александра Невского, победы Ермака, взятие Казани и Астрахани, победы под Полтавой и над Наполеоном. Но не желает помнить татарского ига, сожжения Москвы ханом Девлет-Гиреем, поражений под Севастополем и Порт-Артуром. Все это народ отменяет, оставляя в своей исторической памяти только победы. Любит русский человек покуражиться, это у него в крови – компенсация за вековую отсталость, нищету и рабство. В этом ОН убедился еще в ссылке, видел в деревне среди крестьян, это ОН наблюдал и у мастеровых в Баку. Вспыльчивый, горячий грузин выпьет вина и поет с другими грузинами грузинские песни, танцует и веселится. А смиренный, тихий русский мужичок, выпивши, лезет в драку, доказывает свою силу. Этот кураж – важное слагаемое русского национального характера, он подвигает русского человека на отчаянные поступки. Именно поэтому народ так любит своих героев, именно поэтому так популярны летчики – они показывают всему миру силу своего народа, удаль и смелость его сынов. И народ ЕМУ благодарен за то, что ОН такими их воспитал. И ОН может гордиться тем, что отсталый, забитый, неграмотный народ превратил в народ-герой. ОН останется в истории тем великим, чего достиг народ под ЕГО руководством. А издержки, неизбежные при создании могучей централизованной державы, забудутся. Кто будет вспоминать жалких пигмеев, которых он вышвырнул за борт истории, сволочь, именующую себя «старой ленинской гвардией»? Почувствовали смертельную опасность! Даже «верный друг» Клим Ворошилов и тот наделал в штаны, позвонил ему: «Коба, как мне поступить, если явятся за мной?» Он тогда помолчал, потянул, поманежил беднягу, потом сказал: «А ты им не открывай дверь». Успокоился, сидит рядом, розовенький дурачок, выпивает, улыбается, как же: военные летчики, его кадры. Пусть тешится.

Так думал Сталин, сидя за столом рядом с Молотовым и Ворошиловым, потягивая вино, понемногу закусывая, оборачиваясь к сцене, когда выступали артисты, и не слушая ораторов, произносивших тосты. Он хлопал и тем и другим, поднимая свой бокал, потом сказал Молотову:

– Дай мне слово.

Молотов постучал ножом о бокал, этого звука никто не услышал, но официанты мгновенно замерли на своих местах, зал затих, все повернулись к президиуму.

– Слово имеет товарищ Сталин, – объявил Молотов. Сталин встал, и все тотчас же встали. И снова аплодисменты, снова овация.

Сталин поднял руку – все сразу затихли, Сталин опустил руку – все сели.

– Попрошу, товарищи, наполнить бокалы, – сказал Сталин.

Произошло легкое движение, все торопились налить вино, наливали, что было под рукой, выбирать некогда, нельзя же заставлять товарища Сталина ждать.

Восстановилась тишина.

– Я хочу поднять этот бокал, – сказал Сталин, – за наших мужественных летчиков, нынешних и будущих Героев Советского Союза. Хочу сказать им, и нынешним, и особенно будущим Героям Советского Союза, следующее: смелость и отвага – неотъемлемые качества Героя Советского Союза. Летчик – это концентрированная воля, характер, умение идти на риск. Но смелость и отвага – только одна сторона героизма. Другая сторона, не менее важная, это умение. Смелость, говорят, города берет. Но это только тогда, когда смелость, отвага, готовность к риску сочетаются с отличными знаниями. К этому я и призываю наших мужественных летчиков, славных сыновей и дочерей нашего народа. Я поздравляю наших Героев Советского Союза, как нынешних, так и будущих. Я поднимаю этот бокал как за нынешних, так и за будущих Героев Советского Союза. За летчиков малых и больших – неизвестно, кто малый, кто большой, это будет доказано на деле. Мы уже пили за здоровье товарищей Громова, Юмашева и Данилина. Но не будем забывать, что их героический перелет подготовлен подвигами и других летчиков. Это выдающиеся летчики нашего времени, Герои Советского Союза – Чкалов, Байдуков, Беляков, совершившие первый беспосадочный перелет через Северный полюс, Москва – Ванкувер в Соединенных Штатах Америки. – Сталин протянул палец к столу, где сидели летчики. – Именно они, Чкалов, Байдуков, Беляков, первыми проложили путь через Северный полюс в Америку. Выпьем, товарищи, за наших славных летчиков, Героев Советского Союза, нынешних и будущих.

Сталин выпил. И все выпили, поставили бокалы на стол и зааплодировали. С ними говорил сам Сталин. Все хлопали, кричали: «Да здравствует товарищ Сталин... Товарищу Сталину – ура!» Особенно старались летчики, хлопали в такт и выкрикивали здравицы хором. От их стола отделились Чкалов, Байдуков и Беляков и направились в президиум. Их, конечно, позвали. Без особого приглашения никто не смел пересекать пространство между столом президиума и остальными столами. Сталин пожал летчикам руки, Громову, Юмашеву и Данилину он уже пожимал руки, теперь очередь главного, любимого летчика. Но Чкалов, Байдуков и Беляков явились в президиум с бокалами в руках.

– Товарищ Сталин, – сказал Чкалов, – разрешите обратиться?!

– Пожалуйста.

– Позвольте чокнуться с вами и выпить за ваше здоровье?

– Ну что ж, можно и выпить.

Сталин налил в бокал вино, чокнулся с летчиками, все выпили.

Сталин поставил бокал на стол.

– Еще будут какие-нибудь просьбы?

– Товарищ Сталин. – Чкалов смело глядел ему в глаза. – От имени всего летного состава... Сейчас будет выступать Леонид Утесов... От имени всего летного состава... Просим... Разрешите Утесову спеть «С Одесского кичмана».

– Что за песня? – спросил Сталин, хотя знал эту песню. Ее дома напевал Васька, и ОН был недоволен: сын поет воровские песни.

– Замечательная песня, товарищ Сталин. Слова, товарищ Сталин, может быть, и тюремные, блатные, но мелодия боевая, товарищ Сталин, строевая мелодия.

– Хорошо, – согласился Сталин, – пусть споет, послушаем.

В артистической комнате, где толпились, ожидая своего выхода, артисты (те, кто уже выступил, сидели в соседнем зале за специально накрытыми для них столами), появился военный с тремя ромбами на петличках гимнастерки, отозвал в сторону Утесова, строго спросил:

– Что собираетесь петь, товарищ Утесов?

Утесов назвал репертуар.

– Споете «С Одесского кичмана», – приказал военный.

– Нет-нет, – испугался Утесов, – мне запретили ее петь.

– Кто запретил?

– Товарищ Млечин. Начальник реперткома.

– Положил я на вашего реперткома. Будете петь «С Одесского кичмана».

– Но товарищ Млечин...

Военный выпучил на него глаза:

– Вам ясно сказано, гражданин Вайсбейн?! – И злобным шепотом добавил: – Указание товарища Сталина.

И первым номером Леонид Утесов под аккомпанемент своего теа-джаза спел «С Одесского кичмана»...

С Одесского кичмана бежали два уркана,
бежали два уркана да на во-олю...
В Абнярской малине они остановились,
они остановились отдыхнуть.

Пел лихо, окрыленный указанием товарища Сталина, сознавая, что с этой минуты никакой репертком ему не страшен, он будет петь и «Кичмана», и «Гоп со смыком», и «Мурку», и другие запрещенные песни.

И оркестр играл с увлечением. Ударник выделял чудеса на своих барабанах и тарелках, саксофонисты и трубачи показали себя виртуозами. Заключительный аккорд, оркестр оборвал игру на той же бравурной ноте, на какой и начал.

Никто не понимал, в чем дело. На таком приеме, в присутствии товарища Сталина Утесов осмелился спеть блатную песню. Что это значит?! Идеологическая диверсия?! Не то что хлопать, пошевелиться все боялись. Даже Чкалов, Байдуков и Беляков притихли, не зная, как отреагирует товарищ Сталин. Растерянные оркестранты опустили трубы, бледный Утесов стоял, держась за край рояля, обескураженный мертвой тишиной, и с ужасом думал, не провокация ли это, не сыграл ли с ним военный злую шутку, пойдя докажи, что ему приказали, он даже не знает, кто этот военный, не знает его фамилию, помнит только три его ромба.

И вдруг раздались тихие хлопки – хлопал сам товарищ Сталин. И зал бурно подхватил его аплодисменты. Если хлопает товарищ Сталин, значит, ему это нравится, значит, он это одобряет. И правильно! Веселиться так веселиться! Правильно! Bravo! Бис! Бис! Bravo!

Взмокший Утесов, едва переводя дыхание, раскланивался, поворачивался к оркестру, отработанным дирижерским движением поднимал его, музыканты вставали, постукивали по своим инструментам, как бы аплодируя залу. А зал не утихал, аплодисментами и криками «бис!» требуя повторения. Глядя на Утесова, Сталин развел руками, пожал плечами: мол, ничего не поделаешь, народ хочет, народ требует, народу нельзя отказывать...

Утесов спел второй раз.

Товарищ, товарищ, болят мои раны,
болят мои раны в глыбоке.
Одна заживает, другая нарывает,
а третья открылась на боке.

Летчики подпевали, притоптывали, отбивали такт ножами и вилками, постукивая ими о тарелки и бокалы. И за другими столами тоже подпевали и притоптывали и, когда Утесов кончил петь, опять взорвались криками: «Бис! Бис!» И товарищ Сталин аплодировал, и члены Политбюро аплодировали, и опять товарищ Сталин пожал плечами, развел руками, и Утесов спел в третий раз.

Товарищ, товарищ, скажи моей ты маме,
что сын ее погибнул на посте.
С винтовкою в рукою и с шашкою в другую,
и с песнею веселой на губе.

Летчики уже не только подпевали, а орали во всю глотку, вскочили на стол и плясали, разливая вина и разбрасывая закуски. Даже писатель Алексей Толстой, толстый, солидный, с благообразным бабьим лицом, и тот взобрался на стол и топтался там, разбивая посуду. Граф, а как его разобрало.

Песня, конечно, уголовная, но что-то в ней есть. Слова сентиментальные, уголовники это любят. «Болят мои раны... Скажи моей ты маме...» Но мелодия четкая, зажигательная. Он хорошо помнит уголовников, встречался с ними в тюрьмах, на пересылках. Конечно, преступники. И сейчас, когда они покушаются на социалистическую собственность, их надо жестоко преследовать, сурово наказывать – социалистическая собственность неприкосновенна. Но тогда, в царские времена, стирались грани между преступлением и протестом против несправедливости, угнетения и нищеты. Простые, неграмотные люди не всегда могут подняться до высших общественных интересов. Хотят справедливости для себя, требуют перераспределения богатства на своем уровне. В Баку, в Баилловской тюрьме, ОН общался с уголовниками с гораздо большим удовольствием, чем со своими «коллегами» – политическими. «Коллеги» вечно спорили, теоретизировали, выясняли отношения, разбирали свои склоки и интриги, каждый доказывал, что он умнее, образованнее и порядочнее другого. У уголовников все было просто и ясно. Законы, правила, обычаи простые и нерушимые. И наряду с этим слаженность, дисциплина. Беспрекословное подчинение вожаку, преданность своей организации. Измена беспощадно каралась. Самое универсальное наказание – смерть, другими средствами наказания они не располагали. За малейшее подозрение – тоже смерть, никаких средств расследования они не имели.

Уголовное начало – начало атавистическое, оно заложено в каждом человеке. В интересах государственной дисциплины и порядка его следует подавлять. Но когда уголовное начало прорывается вот таким невинным образом, как сегодня здесь, в Кремлевском дворце, в захватской песне о сбежавшем из тюрьмы воре, в пляске на столе... Ну что ж, с таким проявлением уголовного начала можно мириться. ОН строго взыскивает за малейшую про-

винность, но, приходя к НЕМУ на праздник, люди должны испытывать радость и удовольствие.

Этим приемом товарищ Сталин остался доволен. Люди веселились искренне, от души веселились. А если люди веселятся, значит, дела у них идут хорошо. Если люди в стране веселятся, от души веселятся, значит, дела в стране тоже идут хорошо.

3

Группа выстраивалась в шеренгу, если помещение было тесным, то в две, впереди Семен Григорьевич, командовал:

– Начинаем с правой ноги... Шаг вперед – раз!левой – два! Правой вправо, приставляем левую – три! Снова правой – четыре! Какая нога свободна? Левая! Начинаем с левой. Вперед – раз, два! В сторону – три, четыре! Ту же фигуру проделываем назад: правой, левой – раз, два! Вправо, влево – три, четыре! Вернулись в исходное положение.

Это движение – основа фокстрота, румбы и танго – повторилось много раз. Потом все разучивалось под музыку, под четкие, ударные звуки фокстрота или румбы. Правой вперед – раз, два, вправо – три, четыре!.. «Фиеста, закройте двери. Фиеста, тушите свет...» Раз, два, три, четыре!.. «Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц...» Раз, два, три, четыре!.. «И в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ...» Раз, два, три, четыре! Убедившись, что движение освоено, Семен Григорьевич приказывал его проделать в паре.

Семен Григорьевич был весьма представительен. Плотный, даже полноватый, средних лет, с бритой актерской физиономией, пышной седеющей шевелюрой, появлялся на занятиях в неизменном темном костюме, белой рубашке, с бабочкой, в блестящих лакированных туфлях. Ходил, опираясь на черную, тоже лакированную трость с массивным круглым блестящим набалдашником. Во время урока ставил ее в дальний угол, чтобы не задела, не уронили. Голос у Семена Григорьевича был приятный, по-актерски хорошо поставленный, даже интеллигентный, говорил он весело, значительно, во вступительном слове, как и предупреждал Глеб, ссылаясь на Сократа и Аристотеля, доказавших, что танцы полезны для здоровья, развивают художественный вкус и музыкальность.

Западные танцы, утверждал Семен Григорьевич, ошибочно трактуются как буржуазные, на самом деле происхождение их народное. Танго – народный танец Аргентины, румба – Мексики, медленный фокстрот танцуют обычно под музыку блюза – грустные мелодии американских негров. Семен Григорьевич просил Глеба проиграть несколько музыкальных фраз блюза и обращал внимание слушателей на их безысходную тоску. Это тоска негритянского населения США, столетиями пребывавшего в рабстве и поныне угнетаемого и унижаемого буржуазным обществом.

К Семену Григорьевичу, к его лекциям Саша относился иронически. «Жучок». Таскается со своей тростью по месткомам и фабкомам, заключает договоры, мухлюет, прикрываясь своим респектабельным видом. И можно ждать чего угодно. От любого человека можно ждать чего угодно, все теперь их люди. И он, потянувши руку за расстрел Тухачевского, разделил с ними ответственность за убийство невинных людей. Воспоминание о том митинге, об охватившем страхе угнетало его, он был себе отвратителен, пытался уверить себя, что так устроен мир, но понимал, что так устроен он сам.

Никто никому не верит, и он не верит, ни с кем не говорит о политике, даже о том, что пишут в газетах... «Да? А я не читал... Пропустил, наверно...» Он и в самом деле их почти не читал, иногда, проходя по улице, останавливался у стенда, проглядывал «Правду». Все одно и то же: победные репортажи, трудовые рекорды, приветствия великому Сталину, его портреты, разоблачения шпионов, диверсантов, троцкистов, расстрелы, суды, награждение орденами работников государственной безопасности за «особые заслуги в борьбе с врагами народа». В одном из списков награжденных Саша увидел имя Шарока Юрия Денисовича, награжденного орденом Красной Звезды.

Будягин и Марк расстреляны, руководители партии, совершившие Октябрьскую революцию, герои гражданской войны, истреблены, а контрреволюционеры и антисоветчики

награждаются орденами от имени той партии, которую они уничтожили, от имени власти рабочих и крестьян, которой уже нет. Чью же диктатуру осуществляет Сталин? Пролетариат бесправен. Крестьянство превращено в крепостных, называемых колхозниками. Государственный аппарат живет в страхе. В стране диктатура Сталина, только Сталина, одного Сталина. Утверждение Ленина, что волю класса может выражать диктатор, неправильно, диктатор может выражать только собственную волю, иначе он не диктатор.

Попалась Саше на глаза статья Вадима Марасевича. Вот и Вадик печатается в «Правде», громит какой-то роман, обвиняет автора в апологетике кулака. «Хочет того автор или не хочет, – писал Вадим, – но его роман оказывает хорошую услугу международному империализму, помогает ему духовно разлагать советских людей, подрывает их веру в великое дело Ленина – Сталина». Ничего себе обвинение, тянет на 58-ю статью, это уж точно. Хорош профессорский сынок!

Все скурвились, все продались. Всеобщий страх породил всеобщую подлость, все под колпаком, всюду их глаза, их уши, всюду отделы кадров, анкеты, требуют паспорт, а там обозначено, кто ты такой.

Значит, выбор сделан правильно. Танцы! Не требуют здесь автобиографии, не надо заполнять анкет. Если держаться осторожно, можно не нарваться. Хозяйка не требует обещанного ей Глебом официального направления, забыла, наверное. Приходит Саша поздно и встает поздно, часто и вовсе не приходит, живет тихо, никто у него не бывает, за квартиру платит аккуратно, хозяйку это устраивает. Правда, Глеб сказал, что следует зайти в Гастроль-бюро к Марии Константиновне с паспортом, но как-то мельком сказал. И Саша отодвинул это от себя: не спрашивают паспорт, и ладно.

В первое же воскресенье после приезда в Уфу он позвонил маме. Голос у нее был встревоженный. Телефонистка сказала: «Ответьте Уфе».

– Сашенька, почему Уфа, что за Уфа?

– Я в Уфе с автоколонной, в командировке, пробуду месяца два-три, будем вывозить хлеб из районов, поэтому не уверен, что смогу регулярно звонить. Но буду стараться. Как всегда, по воскресеньям. Мне пиши: Уфа, Центральный почтамт, до востребования.

Но мама чувствовала что-то неладное, опять страдала и волновалась за него.

– Почему так далеко? Из Калинина в Башкирию?!

– Мама, как проводить уборочную кампанию, решаем не мы с тобой. Приказали отправить автоколонну – отправили. Нет причин для волнений.

– Зайди к брату Вериному мужа. Я тебе дала его адрес.

– Будет время – зайду.

Позвонил он маме и в следующее воскресенье, и мама вроде бы успокоилась. Но что будет с ней, если здесь или где-нибудь в другом месте, куда занесет судьба, его арестуют? В 1934 году его арестовали дома, мама искала его по московским тюрьмам и наконец нашла. А если заберут в Уфе или еще где-нибудь, как и где она будет его искать, не будет знать, жив ли он, умер, арестован, куда ей ехать, куда бросаться, в какую тюрьму, в какую больницу, на какое кладбище... Этого мать уже не перенесет.

К родственникам Веры он не пошел. Неизвестно, как они отнесутся к его посещению: принимать у себя судимого сейчас опасно. Да и надобности нет. Он устроен, привыкает к этой жизни, спокойной и даже легкой. В Калинине, накручивая километры на своем грузовике, он жевал и пережевывал одни и те же мысли, накидывался на газеты, впадал в отчаяние, особенно унылыми одинокими вечерами. Здесь вечера праздничные – музыка, красивые девушки, глаза лучатся, забыли про начальство, парткомы, профкомы, служебную тяготию, ловят каждое его слово.

– Правой вперед – раз!левой вперед – два! «А Маша чай в стаканы наливает, а взор ее так много обещает...» Раз, два, три, четыре! «У самовара я и моя Маша, вприкуску чай пить

будем до утра...» Стараются. И про треклятый быт не помнят, и про то, что не хватит денег до получки, забыли... Хорошая работа, люди получают удовольствие.

В каждой группе Саша выбирал способную девочку, показывал с ней движения, она становилась его ассистенткой. Одна такая девочка появилась в первой же группе, ее звали Гуля, стройная, гибкая, лет шестнадцати, с детским личиком, нежным и доверчивым. Хорошо чувствовала такт, обладала легким шагом и сильными руками, крепко держала партнера, поворачивала его в нужную сторону, безотказно работала с самыми тупыми. «Наш девиз, – солидно говорил Семен Григорьевич, – добиться стопроцентной успеваемости. Каждый может научиться танцевать – способность к танцу заложена в человеке природой».

Саша часто ловил на себе Гулин взгляд, смущаясь, она тут же отводила глаза. Он ей нравился, в этом возрасте девочки часто влюбляются в молодых преподавателей. Однажды, танцуя с ним, Гуля, преодолевая робость, сказала:

– Хотите после занятий пойти в театр, здесь, во Дворце труда, наверху?

Наверху был зрительный зал, устраивались концерты, выступали приезжие труппы.

Гуля вынула из нагрудного карманчика два билета:

– У меня уже билеты есть.

– Спасибо, Гуленька, но сегодня после занятий совещание в Гастрольбюро, пойдешь с подружкой.

Никакого совещания не было, но заводить роман с этой девочкой Саша не хотел.

Он вспомнил Варино приглашение на каток в «Арбатском подвальчике». Такой же наивный прием. Он думал теперь о Варе без ревности, без обиды. Все перегорело и ушло. Было в ней тогда обаяние юности, было его одиночество в Сибири, ее приписки к маминым письмам, ни от кого он больше писем не получал, и потому ожидание свободы связывалось именно с ней, Варя была для него его Москвой, его Арбатом, его будущим. Все придумал, все сочинил. И все же рана болит, когда к ней прикасаешься. И он старался меньше вспоминать о Варе. Но однажды, разговаривая с мамой по телефону, спросил, кто у нее бывает. Он не собирался задавать этот вопрос, но ему захотелось вдруг услышать Варино имя.

– Кто бывает? – переспросила мама. – Варя заходит, иногда приезжают сестры. А что?

– Ничего, – ответил он, – просто хотелось представить себе, как ты живешь.

Значит, Варя заходит. Это сообщение обрадовало его. Хотя, если разобраться, ни о чем оно не говорило. Хотел услышать Варино имя и услышал. И точка.

4

После первой поездки Шарока в Париж последовала вторая, а потом его там оставили с добытым в Испании паспортом русского эмигранта Юрия Александровича Привалова. Удача была в совпадении имен: и его, и покойного звали одинаково – Юрий. Легенда была хорошо проработана. Мальчиком очутился в эмиграции, в Шанхае, родители умерли, перебрался в Париж, работает в рекламной фирме, хозяин – француз. В России, в Нальчике, остались дальние родственники, с ними, естественно, связи не поддерживает, да и живы ли они, не знает. «Крыша» хотя и не дипломатическая, но надежная. Шпигельглас доверил ему связь с двумя агентами – генералом Скоблиным («Фермер») и Третьяковым («Иванов»). С «Фермером» Шарок уже встречался раньше, вместе со Шпигельгласом, когда готовили дело Тухачевского, а досье Третьякова – «Иванова» изучил в Париже.

Сергей Николаевич Третьяков, до революции крупный российский промышленник, в 1917 году министр Временного правительства, затем министр в правительстве Колчака, завербованный в 1930 году за 200 долларов в месяц, обладал хорошей репутацией среди эмигрантов. Но главная его ценность как агента заключалась в следующем: в доме Третьякова (улица Колизе, 29) на первом этаже размещался штаб РОВСа, Российского общевойскового союза, семья Третьякова жила на третьем этаже, а сам он – на втором, как раз над кабинетом руководителя РОВСа генерала Миллера. В потолке кабинета установили подслушивающее устройство, Третьяков сидел весь день дома со слуховым аппаратом, записывал, записи передавал Шароку. Таким образом, советская разведка имела доступ к самой секретной информации о белогвардейской эмиграции.

И встречаться с Третьяковым было приятнее, чем со Скоблиным. Скоблин держался высокомерно, да и встречи с ним были опасны: эмигранты подозревали его в сотрудничестве с НКВД, за ним могли следить, приходилось часто менять время и место свиданий. Третьяков был вне подозрений, они встречались по средам около пяти в кафе «Генрих IV» на углу Плас де ла Бастиль и бульвара Генрих IV, сидели в небольшом полупустом в этот час зале, о деле никогда не говорили, клали на стол принесенные с собой журналы, Третьяков уходил с журналом Шарока, Шарок – с журналом Третьякова, в нем лежали тексты подслушанных разговоров.

В свое время Шпигельглас предупреждал:

– Третьяков разочаровался в эмиграции, но выдает не всю информацию, какой обладает. Вам следует все время высказывать недовольство, требуя большего. Он работает исключительно ради денег и будет у вас всячески их кланяться и вымогать. Не поддавайтесь. Двести долларов в месяц – ни цента больше. Будет плохо работать, давайте по сто, остальные – когда выдаст что-нибудь дельное. Расписка обязательна. Особенно остерегайтесь его экскурсов в прошлое, он любит вспоминать старину и заболтает вас.

Однако Шарок был доволен Третьяковым. В отличие от коротких, отрывистых и не всегда существенных сообщений Скоблина информация Третьякова была обстоятельна и значительна. Высокий, красивый, вальяжный русский барин мелкими глотками потягивал кофе, пускаясь в рассуждения о дореволюционной России, о старой Москве. Шарок вопреки совету Шпигельгласа не прерывал Третьякова. Почему не послушать? Но в то же время, наблюдая за стариком, делал свои выводы: переменчив в настроениях. Блаженная улыбка так же легко сходила с его лица, как и появлялась, он хмурился, багровел, принимался ругать эмиграцию:

– В смысле борьбы с Советами потеряла всякое значение, грызутся друг с другом. Иностранные державы перестали делать на нее ставку. На покойников, как известно, ставки не делают.

Шарок отводил на встречи с Третьяковым минут сорок, не подозревая, что скоро ему придется провести с ним почти двое суток, не расставаясь ни на минуту. Случилось это во время похищения Миллера. Миллер знал, какую роль сыграл Скоблин в деле Тухачевского и других советских военачальников. Именно поэтому Шпигельглас считал его нежелательным свидетелем и вместе со Скоблиным подготовил акцию похищения, назначив ее на 22 сентября. На этой операции Скоблин и провалился.

Перед уходом из штаба генерал Миллер оставил запечатанный конверт с приказанием вскрыть его в том случае, если к вечеру он, Миллер, не вернется.

Миллер не вернулся, конверт вскрыли, в нем лежала записка:

«Сегодня в 12 часов 30 минут у меня назначена встреча с генералом Скоблиным на углу улиц Jasmin и Raffet. Он должен отвезти меня на randevu с двумя немецкими офицерами: полковником Штротманом и сотрудником здешнего германского посольства Вернером. Свидание устраивается по инициативе Скоблина. Возможно, это ловушка, поэтому я оставляю вам эту записку».

Записку сотрудники Миллера предъявили Скоблину и предложили отправиться с ними в полицию. Однако Скоблину удалось бежать и связаться со Шпигельгласом. Тот приказал Шароку спрятать его у Третьякова, то есть в доме, где находился штаб РОВСа и где никому в голову не могло прийти его искать. Через два дня Шпигельглас переправил Скоблина в Испанию, а сам уехал в Москву.

Увидев Скоблина, Третьяков перепугался, а на следующий день, узнав из газет, что Скоблин участвовал в похищении Миллера, перепугался еще больше – скрывая Скоблина, он становился соучастником преступления. Два дня Шарок держал его под своим неусыпным контролем, успокаивал старика, а когда Скоблина переправили в Испанию, выдал ему пятьсот долларов за оказанную услугу. Таково было распоряжение Шпигельгласа. Третьяков успокоился, тем более имя его в связи с этим делом нигде и никем не упоминалось, он по-прежнему вне подозрений.

Подробности о похищении Миллера Шарок узнал из газет. Скоблин привез Миллера на бульвар Монморанси, где в воротах виллы два человека втолкнули его в машину, она тут же отправилась в Гавр. В Гавре ящик, в который запрятали Миллера, перегрузили на борт советского парохода «Мария Ульянова», пароход снялся с якоря и ушел в Ленинград. О дальнейшей судьбе генерала Миллера Шарок мог только догадываться – наверняка расстреляли.

Внимательно читая газеты, Шарок усмехался про себя – шумят, кричат. Большевики на территории Франции среди бела дня похищают людей! Похитили генерала Кутепова, теперь генерала Миллера! Грузовик, на котором доставили Миллера в Гавр, принадлежит советскому посольству. В кампанию включился знаменитый Бурцев, разоблачивший в свое время провокатора Азефа. Бурцев утверждал, что главный агент Москвы – не Скоблин, а его жена – известная русская певица Плевицкая. Скоблин при ней на вторых ролях. Плевицкую арестовали, дожидается в тюрьме суда. Обстановка накалялась, Шпигельглас и кое-кто из резидентов отсиживались в Москве. Хорошо законспирированный Шарок остался в Париже. Помимо всего прочего, занимался немецким.

Шпигельглас ему как-то сказал:

– Разведчик должен знать минимум два языка. В школе у вас был французский, в институте – немецкий, так написано в вашей анкете.

– Да, в институте был немецкий.

– Вот и займитесь. Ваш хозяин – эльзасец, жена – немка, говорят и по-немецки, вот вам практика.

Шутливо, но со значением добавил:

– Занимайтесь прилежно, будем проверять. И еще: завязывайте связи с эмигрантами на бытовом уровне, можно и на деловом, коммерческом, если понадобится. У вас должен быть

круг знакомых, которые смогут засвидетельствовать: «Ах, Юрий Александрович... Мы его знаем». Это могут быть простые люди, не обязательно титулованные особы.

– Среди простых эмигрантов бывают и князья, – пошутил в свою очередь Шарок.

– И это подходит.

5

Семен Григорьевич пригласил еще двух аккомпаниаторов – пианиста и баяниста. Баяниста звали Леня – здоровый добродушный парень, безответный, покладистый, таскался со своим баяном куда прикажут, играл по слуху, репертуар примитивный, выпивал, составил в этом смысле компанию Глебу, да и Саше, Саша в последнее время тоже прикладывался, иногда крепко. Второй – пианист, профессионал, Миша Каневский, худенький, с нервным лицом, серыми беспокойными глазами и длинными красивыми пальцами, учился в Ленинградской консерватории, не закончил, попал в Уфу, в Гастрольбюро, работы было мало, и вот принял предложение Семена Григорьевича, от работы в ресторанном оркестре отказался:

– В ресторанного холуя «они» меня не превратят. – И на лице его блуждала скорбно-презрительная улыбка, кривил губы.

Мишу выслали из Ленинграда после убийства Кирова в числе нескольких тысяч «представителей буржуазии и дворянства»: его отец, адвокат, владел до революции домом в Санкт-Петербурге. После революции дом реквизировали, адвокат попал в число «бывших крупных домовладельцев», Миша значился «сыном бывшего крупного домовладельца». Таких ребят в Уфе было много, положение их неясное, паспорта не отобрали, только ликвидировали ленинградскую прописку. Будущее свое Каневский представлял, конечно, совсем иным и вот по «их» милости оказался в Уфе, в роли тапера. Все в этом городе было ему ненавистно: «их» клубы, «их» пианино и рояли, которые уже давно пора настраивать, но хамье этого не понимает, «их» лозунги на стенах, «их» пошлые современные мелодии, которые ему приходилось играть. В душе презирал Глеба и Леню, никакие они не музыканты, Семена Григорьевича, Нонну и Сашу – халтурщики, сшибают деньгу – держался особняком, не вступал в разговоры, даже курил, стоя в стороне. Как только кончались занятия, мгновенно исчезал.

Глеб его невзлюбил, держался с ним холодно.

– Не выношу еврейского интеллигентского высокомерия, – сказал он Саше.

– Оказывается, ты антисемит? Не думал.

– Я не антисемит, дорогуша, все мои друзья и в школе, и в училище были евреи. И соседи по квартире тоже, прекрасные люди! И мои учителя многие – евреи, таких учителей не найдешь! Но у каждого народа есть свои недостатки, у еврейских интеллигентов – высокомерие. Каневский много о себе понимает, считает себя гением.

– «Этот армянин», «этот хохол», «этот грузин» – противно слушать, – Иванов украдет, скажешь: «Иванов вор». А Рабинович украдет, скажешь: «Еврей вор».

– Неприятный тип.

– Тип – это ты! А он несчастный, гонимый человек.

Во время урока Глеб поглядывал в сторону Саши, чувствовал себя виноватым после разговора о Каневском. Потом перестал об этом думать, играл, покачивая в такт музыке головой, лицо было размягченным, глаза отсутствующими, видимо, что-то вспомнилось. Занятия кончились, а он все сидел за пианино, опустив руки на колени. Кивнул Саше: подойди!

– Ты заметил, дорогуша, что настроение создают самые незатейливые мелодии, самые простенькие слова. Не надо никаких выкрутасов, но желательно, чтобы было слово «помнишь». Тут, скажу тебе, дорогуша, никто не может устоять.

– Например?

– Пожалуйста, даже с твоим именем: «Саша, ты помнишь наши встречи в приморском парке на берегу. – Он тихонько подыгрывал себе одной рукой, те, кто не успел уйти, возвращались от двери, Глеб хорошо пел, Саша это знал, еще по Калинин. – Саша, ты помнишь тихий вечер, весенний вечер, каштан в цвету...» Это Изабелла Юрьева, а вот тебе Лещенко:

«Помнишь, как на Масленой в Москве в былые дни пекли блины, ты хозяйкой доброю была и блины мне вкусные пекла». Ну и так далее.

Саша уже вел занятия самостоятельно, сам произносил вступительные речи, не повторял Семена Григорьевича, цитировал не Сократа и Аристотеля, а Пушкина:

Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и жизнь, и радость,
И дам обдуманный наряд;
Люблю их ножки; только вряд
Найдете вы в России целой
Три пары стройных женских ног.

– Если бы Пушкин появился на наших занятиях, – заключал Саша, – то убедился бы, что в России стройных ножек гораздо больше.

Все улыбались, и Саша начинал занятия.

– Здорово ты придумал с Пушкиным, – одобрил Глеб.

Каневский, обычно не вступавший в разговоры, усмехнулся:

– Современно и своевременно. Отмечали столетие со дня гибели Пушкина, теперь его знают все советские люди. Я прочитал в газете выступление не то доярки, не то свинарки, не помню: «Молодец, Татьяна: отшила Онегина. Когда простенькая была, в деревне жила – отказался от нее. А как генеральшей стала, сразу понадобилась».

Он замолчал, по-прежнему скорбно-презрительно кривя губы. С Сашей, с единственным, у него тут сложились более или менее дружеские отношения. Саша жалел его, озлобленного и беспомощного, жалкого в своей гордыне. Каневский чувствовал Сашино участие, перебрасывался с ним двумя-тремя фразами, именно ему охотнее всего аккомпанировал. Но сегодня не смог сдержаться. Слишком совпало это с пушкинскими торжествами, проведенными на государственном уровне с фальшивой pompой. И пользоваться его именем здесь, на этой халтуре? Саша и сам чувствовал, что дует в общую дуду. Но жалко было отказаться от такого радостного вступления к занятиям. Разглагольствовать об эксплуатации капиталистами негритянского населения Америки? Нет, стихи Пушкина о балах, о тесноте и радости здесь больше подходят.

– Подкусил тебя сегодня Каневский, подковырнул, – заметил Глеб.

– Чем это?

– Пушкиным... Мол, власти используют Пушкина и ты с ними заодно.

– Ну что ж, так может показаться.

– Не всем, дорогуша, не всем. Мне вот не показалось, мне, наоборот, понравилось. А ему нет. «Свинарки», «доярки»... Видел он этих свинарок и доярок? Молочко небось пьет, а доярок презирает. Он бы хоть раз на их руки посмотрел. Пальцы корявые, распухшие, ими по клавишам не потренькаешь, попробуй подои корову, поймешь, сколько сил надо.

– Дался тебе этот Каневский! Может быть, тебе не нравится, что он играет на рояле не хуже тебя?

– Он обязан играть лучше меня, он учился в консерватории, а я нигде не учился, к тому же я не музыкант, а художник. Мне не нравится другое, мне не нравится, что мы из-за него в тюрьму сядем. Вот что мне не нравится.

Саша пожал плечами.

– Да-да, дорогуша, представь себе! Насчет Пушкина он сказал издевательски: в Пушкина вцепились хамы.

– Зачем искать такой смысл? Извратить можно любое слово.

– Я ничего не извращаю, дорогуша. Но быть бдительным, как сейчас говорят, я обязан, должен быть на страже, думать о том, кто рядом со мной и чего я могу от кого ожидать. Время такое, дорогуша, а ты тем более обязан! В Калинин ты еще чувствовал себя бывшим зеком, осторожным был, а здесь забыл, вот и вляпаешься. Впрочем, ты уже и в Калинин бдительность потерял.

– В чем именно?

– Я тебя там в «Селигере» предупреждал насчет режима. Ты должен был на следующий же день уволиться со своей задрипанной автобазы и мотать оттуда вместе со мной. А ты остался.

– Мы с тобой уже говорили об этом. Уволился на несколько дней позже.

– Нет, дорогуша, нет, – поморщился Глеб, – не уволился, а уволили. «Ввиду убытия» – это значит: или посадили, или из города выгнали. Ты еще счастливо отделался. Могли не просто лишить права проживания, могли и выслать. Только, видно, короткий срок им дали, некогда было разбираться, кого куда, а так всех чохом – вон из города, и концы. Задание выполнено!

– Неизвестно, как бы получилось, если бы я уехал с тобой. А так у меня все законно: с работы уволен, с места жительства выписан.

– Выписан! А где прописан? Не чешешься? Как твой любимый Пушкин писал: «Зима, крестьянин торжествует, надел тулуп и в ус не дуёт». Вот и ты не дуешь! Живешь себе тихо, спокойно. А случись сейчас здесь драка с этими вот башкирами, вмешается милиция – ваши документы! Позвольте, а где вы прописаны? Нигде! А у нас больше трех суток жить без прописки не положено. Может быть, вы скрываетесь, может быть, вы преступник? Сейчас у тебя несколько месяцев без прописки, а там, глядишь, и полгода, и год накапает. Приедешь в другой город, приедешь прописываться, а тебя спросят: где год околачивались? Что скажешь? На новом месте другой Людки и Лизы-паспортистки может и не найтись. Да и здесь Мария Константиновна в Гастрольбюро увидит твой паспорт и скажет: снимаю вас с учета, у вас нет прописки. Кстати, дорогуша, я тебе говорил: надо явиться к Марии Константиновне с паспортом. Говорил?

– Да, говорил, но как-то мельком.

Глеб хлопнул обеими ладонями по столу.

– Что ты, дорогуша, мотаешь мне нитки... У меня ведь не катушка! Что значит «мельком»? Для тебя ничего не может быть «мельком», все имеет значение, все моментом усекай и поворачивайся!

– Что об этом говорить, – нахмурился Саша. – В Калинин я не поеду, никто мне там выписку не аннулирует. Надо придумать что-то здесь.

– А почему сам не думал? Хоть и попадал ты в серьезные переплеты, да, видно, везло тебе, вывинчивался. А может и не повезти, крупно не повезти, так что смотри в оба.

6

Предупреждение Глеба сбылось на следующий же день, бес в нем сидит или заранее знал?

Утром, когда Саша умывался, к нему вышла хозяйка.

– Александр Павлович, вчера приходили с избирательного участка, с ними паспортистка из домоуправления. Составляют списки по выборам в Верховный Совет. Читали, наверно, в газетах, в декабре будут всенародные выборы.

– Читал, конечно, знаю.

Опять, как когда-то, противно и тревожно заныло сердце.

– Составляют они списки жильцов. – Голос у хозяйки был нудный, монотонный. – Чтобы все обязательно проголосовали, все сто процентов. Я вас записала – Панкратов Александр Павлович, артист, по направлению Гастрольбюро. А паспортистка меня обрывает: «Никакого направления из Гастрольбюро вы мне на него не давали». Александр Павлович, я запомнила, давали вы мне направление?

Саша замялся:

– Не помню... Какую-то бумажку оттуда мы, кажется, приносили, когда пришли с моим товарищем в первый раз.

– Может, я куда-то засунула, совсем без памяти стала. Но дело поправимое. Случалось, я направление теряла, бывало, жильцы протаскают в кармане и тоже теряют. Мария Константиновна всегда копию давала. И еще: вам велели зайти с паспортом на избирательный участок, тут недалеко, в школе.

– А если я до выборов уеду?

– Они вам все объяснят, открепительный талон дадут.

Хотел хотя бы на время душевного спокойствия: никуда не ходить, не объясняться, не унижаться. И вот расплата. В газетах пишут о предстоящих выборах как о великом торжестве советской демократии. Выдвигаются кандидаты в депутаты «от блока коммунистов и беспартийных» – «достойные сыны и дочери советского народа». Первым кандидатом называют товарища Сталина. Все это Саша читал каждый день, где-то копошилась мысль, что выборы могут быть чреваты неприятностями для него, но отгонял эту мысль и дождался. Дурак, не послушался тогда Глеба, уехал бы с ним из Калинина, осталась бы в паспорте калининская прописка. А теперь на избирательном участке начнутся выяснения, и хозяйку подведет – держала три месяца человека без прописки, и Марии Константиновне в Гастрольбюро достанется – взяла на учет. Что же делать? Не сходить ли к брату Вериного мужа, он давний житель Уфы, может, посоветует что-нибудь.

Его встретила женщина в старом капоте, с испуганными глазами.

Саша представился, добавил:

– Вера Александровна писала вам обо мне и звонила Сергею Петровичу.

– Нет, нет. – Женщина замотала головой. – Сергея Петровича нет, он уехал, надолго, не знаю, когда вернется.

Не предложила сесть, мотала головой, хотела, видно, только одного – поскорее захлопнуть за Сашей дверь.

Саша ушел. Побоялись, наверно, принять его, судимого.

Когда в воскресенье он позвонил в Москву, мама сказала:

– Ты по Вериному адресу не ходи, ее деверь в больнице, надолго.

Саша понял, Верин родственник арестован, потому так перепугана его жена. Рядовой инженер, отец троих детей, и его посадили.

Все это выяснилось в воскресенье, а в тот день вечером Саша сказал Глебу:

– Ты оказался прав.

– Что случилось, дорогуша?

Саша передал разговор с хозяйкой.

– Влип ты, дорогуша, – заулыбался Глеб, – как башкиры говорят: «Ошибку давал, вместо «ура» «караул» кричал».

– Уеду завтра из Уфы, иначе за горло возьмут. Конечно, я виноват, подвожу и хозяйку, и Марию Константиновну, и Семена, но что делать?

– Чем ты их подводишь? – Глеб насмешливо смотрел на него.

– Я уеду, а им расхлебывать эту историю.

– Все о других печешься. – Глеб смотрел все так же насмешливо. – О человечестве, как бы кого не подвести... Человечество о себе само позаботится, у тебя совета не спросит.

– Я не понимаю, о чем ты говоришь.

– Все о том же. «Им расхлебывать». А чего им расхлебывать?! Подумаешь, приехал какой-то танцор-плясун-гастролер, проболтался, даже не прописался и укатил... Привет с Анапы! Отплясал свое. Таких перекасти-поле, дорогуша, десятки. Кто будет твое дело расследовать, кому ты нужен? Домоуправление само прохлопало, три месяца человек жил без прописки. Мария Константиновна? Ну скажет Семену: «Каких вы несолидных людей держите!» Тоже ведь прозевала. И все. Уедешь – никого не подведешь. Кроме себя, конечно. Что будешь делать на новом месте? Хоть и падают на тебя девки, но ведь не сразу попадешь на такую, чтобы в деле помогла. Нет, дорогуша, если ты уедешь, им нечего будет расхлебывать. А вот если останешься, тогда им придется мозгами шевельнуть, и Семену, и Машеньке нашей красавице Константиновне: надо им что-то с тобой делать, надо им свой промах исправлять.

– Это неприемлемо: присутствует элемент шантажа.

– Вот-вот, дорогуша, это интеллигентство гнилое в тебе говорит, чистоплюйство твое! Уехать всегда успеешь, надо здесь все шансы испробовать. Семену ты нужен, ты в Уфе знаменитость, Семен заключает договор, а там просят: пришлите нам того чернявого, что во Дворце труда занятия ведет. Вот какая о тебе слава пошла... И я тебе сам скажу – не ожидал! Когда ты делаешь первый шаг и так это протяжно говоришь: «И... раз!», то это твое «и» тянет всех за собой. Что же, Семен тебя отпустит, а сам будет бегать по группам? Думаешь, он на палочку опирается для форсу, для солидности? У него ноги плохо ходят, он только на первом занятии таким фертотом выглядит, а потом два дня отлеживается. Разве он вытянет по шесть часов в день? И замены тебе нет. Значит, он должен твое дело уладить. Договорится с Марией Константиновной, не беспокойся! Она с Семеном повязана, никуда не денется и все может. Давеча одному обормоту квартиру с пропиской устроила, с временной, правда, пропиской, но тебе какая разница, тебе важно три месяца прикрыть. Ляпнут в милиции штамп, и катись к едрене фене. Поговори с Семеном, все начистоту выложи, он мужик ушлый, сделает, как надо.

Все произошло так, как и предполагал Глеб. Семен Григорьевич взял Сашин паспорт и вернул на другой день с двумя направлениями, копию Сашиной хозяйке, а другое – по новому адресу, с добавлением: «Просьба прописать временно». Саша съездил, посмотрел квартиру: убогий домишко на окраине Уфы, на огородах, грязь непролазная, осенняя. Хозяйка, шустрая старушка, показала ему каморку с деревянным топчаном вместо кровати и гвоздем на двери вместо шкафа, взяла паспорт, направление и деньги за месяц вперед. Это жалкое жилище стоило вдвое дороже комнаты в центре – цена прописки.

Оставаться в этой халупе, мотаться сюда каждую ночь после занятий Саша не собирався. Прописка есть, и жить он может теперь где пожелает. Повесил на гвоздь старый костюм, плащ, зимой уже не нужный, засунул под топчан сношенные туфли, положил на табуретку возле оконца зубную щетку – придал видимость жилья. Сходил на избирательный участок, предстал перед очами членов избирательной комиссии, их там было трое, прове-

рили паспорт, внесли в списки, вручили приглашение на голосование, без всякой надобности сверлили Сашу недобрыми глазами, говорили казенно.

И сразу всплыло в памяти, как у них дома, в Москве, в начале тридцать третьего года получали паспорта... В домоуправлении толпились жильцы, волновались, запомнились две старушки, тряслись от страха, боялись подойти к столу, за которым сидели милицейский чин, паспортистка и худющий пожилой тип – представитель общественности. Каждый жилец держал в руках заполненную анкету, выкладывал ее на стол вместе с метрикой и справкой с работы. Милицейский чин их рассматривал, если что-то было непонятно, возвращал, требовал принести другие. Если же документы были в порядке, выдвигал ящик стола, сверялся с лежащим там списком, накладывал на анкету резолюцию и передавал паспортистке.

Саша не понимал тогда, почему эта процедура вызывает у кого-то тревогу и волнение: преступников тут нет, прожили в этом доме жизнь, многих Саша знал с детства. Перед ним в очереди стоял Горцев, его Саша тоже знал с детства, вежливый интеллигентный человек, муж известной балерины, умершей год назад. Саша помнил ее пышные похороны. Гурцев в черном пальто шел за гробом. Они не были близко знакомы, но здоровались как люди, часто встречающие друг друга во дворе, на лестнице, в лифте. Гурцев выложил документы, милицейский чин их просмотрел, взглянул на список в ящике стола, положил документы Гурцева в отдельную папку.

– Явитесь завтра в одиннадцать часов в восьмое отделение милиции.

– Позвольте... – начал Гурцев.

– Гражданин, я вам все объяснил. Следующий!

– Но я хотел бы знать...

– Все там узнаете. Следующий!

Как рассказывала потом мама, Гурцеву паспорт не выдали, приказали покинуть Москву: его отец до революции был фабрикантом. Отказали в паспортах еще нескольким семьям в их доме. И тем двум старушкам отказали. Говорили, что «беспаспортные» выехали на сто первый километр.

Почему же он тогда молчал, не возмущался? А когда самого коснулось, задумался.

Саша жил у Глеба. Поставили раскладушку, добавили хозяйке тридцатку. В свою халупу Саша являлся раз в неделю, обычно в воскресенье утром, на 7 ноября принес торт – праздничный подарок, старушка обрадовалась: «Люблю слатенькое», – почему не ночует, не спрашивала, привыкла к тому, что жильцы не ночуют, только ближе к декабрю каждый раз напоминала, чтобы пришел голосовать, иначе неприятностей не оберешься, ее на этот счет строго предупредили, и пришел бы пораньше, грозились после двенадцати дня ходить по квартирам, собирать тех, кто не явился.

Глеб тоже предупредил насчет выборов:

– Не вздумай вычеркивать, у них все бюллетени меченые. Сразу опознают.

Саша, естественно, не вычеркнул единственного кандидата, даже фамилию его не запомнил и в кабину не зашел, она стояла в другом конце зала, зайдешь – подумают, хочешь вычеркнуть. Прошел мимо натяканных на каждом углу «общественников» к урне, опустил бюллетень.

Все так поступали. Не было ничего удивительного в том, что за «блок коммунистов и беспартийных» проголосовало 98,6 процента избирателей. И не удивили слова Сталина на предвыборном собрании: «Никогда в мире еще не было таких действительно свободных и действительно демократических выборов, никогда! История не знает такого примера...» Удивило только, откуда взялись почти полтора процента голосовавших против.

7

Перед отъездом Шпигельглас передал Шароку связь с Марком Григорьевичем Зборовским – агентом по кличке «Макс», он же «Тюльпан». Шпигельглас спешил, но настолько важной была фигура «Макса» – Зборовского, что Шпигельглас посчитал необходимым собственным присутствием закрепить этот контакт. Зборовский был личным секретарем, доверенным лицом и ближайшим другом сына Троцкого – Льва Седова, выпускавшего в Париже «Бюллетень оппозиции» и работавшего над созданием IV Интернационала.

То, что Шпигельглас давно охотится за Троцким, не вызывало у Шарока никакого сомнения. В свое время Шпигельглас опирался в этом деле на Скоблина и ближайшего скоблинского друга в Болгарии генерала Туркула. Убийство Троцкого белогвардейцами выглядело бы акцией возмездия за поражение в гражданской войне. И люди Миллера и Драгомирова принимали в этом участие, когда Троцкий из Турции переехал в Европу. Но сорвалось. Не получилось.

В Мексике же, где Троцкий обосновался с января 1937 года, русских эмигрантов-белогвардейцев нет. Марк Зборовский оставался единственным человеком, способным через сына проникнуть в окружение отца. А пока он был ценным источником информации. Лев Седов доверял ему все, вплоть до своей личной переписки с отцом, в письмах они называли Зборовского Этьеном. О степени доверия говорило такое письмо Льва Седова отцу: «Во время моего отсутствия меня будет заменять Этьен, который находится со мной в самой тесной связи и заслуживает абсолютного доверия во всех отношениях». Копию этого письма, как и всех прочих писем сына к отцу и отца к сыну, Зборовский передал Шароку. Таким образом, в Москве были осведомлены о каждом шаге Троцкого и его сторонников. В информации Лев Седов именовался «сынок», Троцкий – «старик».

Зборовский понравился Шароку, интеллигентный, молчаливый еврей с ясным открытым взглядом и неторопливыми движениями, родился в 1908 году в Умани, на Украине, потом жил в Польше, был членом польской компартии, год отсидел в польской тюрьме, уехал с женой в Берлин, затем в Париж, в 1933 году его завербовали. В Советском Союзе остались сестра и два брата.

При следующем свидании Зборовский передал Шароку материалы о подготовке конгресса троцкистского IV Интернационала со списками и адресами ожидаемых делегатов, передал копии последних писем Седова Троцкому и Троцкого Седову. Как и при первой встрече, движения Зборовского были неторопливы, взгляд ясный и открытый, это не болтливый Третьяков, не заносчивый Скоблин, не было в нем и самоуверенности, которую не любил Шарок в поляках, он производил впечатление человека внешне мягкого, но внутренне твердого, знающего себе цену. Никаких лишних разговоров. О гражданской супруге Седова – Жанне Мартен – Зборовский сказал, что отношения там по-прежнему сложные, Жанна – особа экзальтированная, хочет руководить и своим бывшим мужем, Раймоном Молинье, и новым мужем, Львом Седовым. Но Молинье от политической деятельности отошел, а со Львом Седовым Жанну связывает только воспитание Севы Волкова – внука Троцкого и племянника Седова, которого он усыновил после самоубийства своей сестры Зинаиды. Зборовский рассказывал об этом сдержанно, даже с некоторым сочувствием к Седову.

В общем, Шарок понимал, почему Седов доверяет Зборовскому. Такому человеку трудно не довериться. Конечно, если не знать, что за доверие Зборовский платит предательством, а за предательство получает деньги. Впрочем, работая пятый год в органах, Шарок ничему не удивлялся. Нет героев, нет подвижников, нет святых. Всех можно купить, продать, предать, сломить, сломать, запугать. От солдата до маршала, от простого работяги до министра. В парижской газете Шарок, например, прочитал статью бывшего жандармского пол-

ковника о том, что товарищ Сталин, когда он именовался еще Иосифом Джугашвили, был платным осведомителем царской охранки по кличке «Фикус», в статье приводились даже документы о сотрудничестве Джугашвили с жандармами. И Бурцев, великий разоблачитель провокаторов, утверждал в свое время, что в Центральном Комитете большевиков было два сотрудника царской охранки, одного Бурцев раскрыл – Малиновский, другого назвать не мог, но доказывал, что он существует. Теперь утверждение Бурцева подтвердил жандармский полковник и назвал имя провокатора – Сталин.

Верил ли этому Шарок? Почему не верить? Он-то служит советской охранке, почему Сталин не мог служить царской? Шпионы, осведомители – все это существует, существовало и будет существовать тысячелетия. Никто на свете от такой работенки не гарантирован. Но ни с единым человеком Шарок эти статьи не обсуждал – не читал, не знает, не ведает, слыхом не слыхивал. Одно упоминание об этом может стоить головы. Во всем соблюдал осторожность. Как-то, передавая Шпигельгласу очередной «Бюллетень оппозиции», сказал: «Я этой блевотины даже читать не хочу». На что Шпигельглас ответил: «Нет, почему же, своих врагов надо знать». С такими рассуждениями Шпигельгласу несдобровать. И Троцкому несдобровать. Лучший друг его сына наш агент. И сын, и отец ему доверяют, считают преданнейшим человеком, забыли, что слова «преданный» и «предатель» одного корня. Доверять никому нельзя. Троцкий этого не понимает и потому погибнет. А товарищ Сталин понимает, не доверяет никому, всех истребляет вокруг себя, в этой мясорубке погибают предатели, правда, погибают и преданные люди.

В конце января Зборовский сообщил Шароку, что Седов плохо себя чувствует, жалуется на боли в животе. Конечно, живот может заболеть у каждого, но при этом сообщении что-то мелькнуло в глазах Зборовского, как-то по-особенному прозвучал его голос. Шарок понял – известие чрезвычайной важности, такая ситуация заранее оговорена – и шифровкой в Москву информировал Шпигельгласа. Тот приказал о здоровье «сынка» докладывать ежедневно, завтра же в Париж прибудет «Алексей», Шароку следует организовать встречу «Алексея» с «Максом», но самому в ней участия не принимать.

«Алексея» Шарок видел как-то мельком, в Москве, на Лубянке. Его тогда удивило, что этот незначительный с виду человек, бывший боксер, так хорошо владеет французским. Почему так хорошо владеет, стало понятно, когда Шарок узнал, что «Алексей» входит в группу, руководимую Яковом Исаковичем Серебрянским.

Выполняя поручения своего тогдашнего шефа, Шарок был однажды у Серебрянского дома, в особняке на Гоголевском бульваре, познакомился с его женой Полиной Натановной. Лицо значительное. Глаза умные. «С биографией тетя», – уважительно подумал Шарок. Уже на улице, перебирая свои впечатления, решил, что Серебрянский похож на римского патриция. Среднего роста, плотный, черты лица крупные. Много позже Шарок узнал, что Серебрянский, бывший эсер, руководит в их учреждении группой специальных поручений, то есть акциями похищений и ликвидации противников. Сотрудников этой группы чекисты за глаза называли «Яшины ребята». «Алексей» был из этой группы, так что о цели его приезда догадаться было нетрудно.

После свидания со Зборовским «Алексей» тут же исчез. Зборовский остался на связи с Шароком и вскоре сообщил, что Седову стало совсем плохо, его положили в больницу на Rue Narcisse Dias под именем господина Мартена (по фамилии Жанны). Доступ к нему имели только Жанна и Зборовский. Теперь сообщения от Зборовского поступали ежедневно. Шарок передавал их в Москву. Восьмого февраля Седову удалили аппендикс, операция прошла успешно. Девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого состояние больного было хорошим: ходит по палате. Четырнадцатого – новое сообщение: накануне вечером у Седова неожиданно начались галлюцинации. Он бегал по клинике, кричал что-то по-русски, упал на диван в кабинете директора. Ему сделали повторное переливание

крови, но спасти не удалось. Шестнадцатого февраля, находясь в состоянии комы, Седов скончался. Вскрытие ничего не показало. Да оно и не могло ничего показать. Переданный «Алексеем» препарат был неизвестен французским врачам, действие его вызывало смерть только на десятый день. Порошок был всыпан в еду перед отправкой Седова в больницу.

8

Першило в горле, насморк, врачи посоветовали посидеть дома. Сталин не поехал в Кремль.

Хмурый день. По ЕГО приказу снег на веранде не убирали. Следов на нем нет – никто не подходил. И, как всегда, вид нетронутого белого снега успокаивал. Снег висел на деревьях, лежал на крыше караульного помещения. Снег с крыш убирали только тогда, когда ОН уезжал в Кремль, а пока ОН на даче, взбираться на крыши, скрести лопатами не разрешалось – не любил скрежета над головой, не любил, когда сверху слышались шаги. Даже дорога от ворот к дому не убиралась: боялись возней во дворе ЕГО разбудить.

В комнате темновато, но Сталин не зажигал свет – потерялось бы чувство уюта, которое он обычно испытывал в такой вот хмурый зимний день в тишине и покое своего дома. Умылся. Бриться не стал, сегодня показываться некому.

Валечка принесла на подносе завтрак.

– Как чувствуете себя, Иосиф Виссарионович? Как здоровычко?

– Хорошо. В библиотеку пойду.

Она робко посмотрела на него.

– Что смотришь, не узнаешь?

– Так ведь хотели вы, Иосиф Виссарионович, дома посидеть. И врачи...

– Врачи разрешили библиотеку, – оборвал ее Сталин.

– Тогда ладненько, чудненько.

Это «ладненько», «чудненько» выразилось вот в чем: когда Сталин в валенках, шубе и шапке-ушанке вышел из дома, дорожка от дома до библиотеки была очищена от снега, крыльцо библиотеки – деревянного дома, на этаж врытого в землю, подметено. И в самой библиотеке тепло, проветрено. Когда успели?

На стеллажах книги правильно стоят, по разделам, по алфавиту ОН легко находил нужную, не мог терять времени на поиски. Карл Маркс говорил, что его любимое занятие – рыться в книгах. Маркс не руководил государством, было время рыться в книгах. Ленин, пользуясь Государственной публичной библиотекой, откуда книги выносить нельзя, каждый раз просил выдать ему книги на воскресенье, в понедельник утром вернет. Как глава правительства подавал пример соблюдения законов? Нет. Просто интеллигентская привычка свято соблюдать библиотечные правила. Ленин, в сущности, книжный человек, из этого вытекали его крупные просчеты. А для НЕГО книга – инструмент в работе, не более того.

На столе «Рассказы о детстве Сталина». Напечатали для него экземпляр и ждут согласия отпечатать тираж. Не получают ЕГО согласия. Плохая книжка. Ненужная. Все приторно, все благостно – добрые родители, дружная семья. Враки! Особенно раздражают «земляки», на них то и дело ссылается автор. Как стараются, сукины дети! Набиваются на «детскую дружбу», которой не было. ОН не помнит этих заносчивых, жестоких мальчишек, презиравших или не замечавших его. Теперь заливаются соловьем, хотят показать свою ничтожную персону, остаться в истории.

Писала русская женщина, а книга насквозь огрузиненная. Угодить хотела, дура! Сплошь грузинские имена, к тому же детские: Зурико, Бесико, Темрико, Отарико, Гоги... Русские дети будут смеяться: Сосо, Сосико...

Уже есть один ребенок – Володя Ульянов, хорошенький, беленький, кудрявенький, этаким русский барчонок, нарисован на всех значках, на всех фуражках, симпатичный, понимаешь, русский дворянский сыночек. Зачем же еще один?! Да еще со странным и смешным именем Сосико?! Для советских детей ОН должен быть не сверстником, а всемогущим вождем товарищем Сталиным, во френче, сапогах, детям импонирует военная форма. Ленин

– это где-то уже далеко, а ОН – живой. И для советских детей должен быть живым – живым отцом, живым Богом. Мертвый Иисус может быть младенцем. Иисус и Ленин сделали свое историческое дело и могут быть теперь очаровательными крошками. А ОН нет, ОН не может быть!

Копаются! Какой-то осетинский ученый болван написал исследование: мол, товарищ Сталин из осетинского рода Дзугата. Есть такая деревня в Осетии – Дзугата, и все выходцы оттуда – Дзугата. Тем, кого крестили на севере, дали русские окончания «ев» или «ов» – Дзугаев, Дзугатов, а на юге грузинский дьяк выводил «дзе» или «швили». Вот и его предки стали сначала «Дзугашвили», а потом «Джугашвили». Теперь все хотят присвоить его себе: осетины – себе, грузины – себе.

Гитлер запрещает писать о своих предках. Правильно делает! Отец Гитлера, Алоис, внебрачный сын крестьянки Шикльгруббер, носил фамилию своей матери, потом вдруг объявился его отец Гитлер, и Алоис стал Гитлером, и его сын Адольф тоже стал Гитлером. И Гитлер правильно рассудил: зачем все это знать немецкому народу? Чтобы зубоскалили, чтобы издевались – как бы, мол, звучало: «Хайль, Шикльгруббер!»

Какие-то идиоты ковыряются в биографии Ленина: предки Ленина по отцу – русские и калмыки, по матери – шведы и евреи. Зачем это нужно советскому народу? Гитлер требует чистоты расы, а ОН не требует. У ЕГО детей отец грузин, мать русская, да еще с немецкой добавкой. Что ж из того?! Русский народ – это смесь славян с угрофиннами, тюрками и монголами. Смешанные браки внутри СССР надо поощрять, они и создают единый советский народ. А браки с иностранцами надо пресекать. Они способствуют шпионажу и предательству. К чему привели Романовых браки с иностранными принцессами? К тому, что последний царь Николай Второй был фактически немец: все его предки были женаты на немках, и русской крови у Николая Второго не осталось. Вот народ и отверг его: царь – немец, царица – немка, как он может воевать против своих немцев?

Он не потомок царской династии, и никакая генеалогия ему не нужна. Его мать грузинка, отец записан грузином, значит, он грузин по происхождению, а фактически – русский, принадлежит прежде всего русскому народу, вся его жизнь и деятельность связана с русским народом. Еще этот ученый болван докопался до метрической книги Горийской соборной церкви за 1878 год, где будто бы записано: 6 декабря у жителей Гори крестьянина Виссариона Ивановича Джугашвили и его законной супруги Екатерины Габриеловны родился сын Иосиф. Крестили новорожденного протоиерей Хаханов с причетником Квиникидзе. Таинство происходило 17 декабря. Выходит, он сделал себя на год моложе? Для чего сделал? Не удастся бросить на него тень.

ЕГО роль как вождя и руководителя в революции, в гражданской войне, в социалистическом строительстве – такие серьезные исследования надо поощрять, а копание в его личной биографии надо прекратить раз и навсегда.

На листе бумаги Сталин синим карандашом написал:

В Детгиз при ЦК ВЛКСМ.

Я решительно против «Рассказов о детстве Сталина».

Книжка изобилует массой фактических неверностей, искажений, преувеличений, незаслуженных восхвалений. Автора ввели в заблуждение охотники до сказок, брехуны (может быть, и «добросовестные» брехуны), подхалимы. Жаль автора, но факт остается фактом.

Но не это главное. Главное состоит в том, что книжка имеет тенденцию вкоренить в сознание советских детей (и людей вообще) культ личности вождей, непогрешимых героев. Это опасно, вредно. Теория «героев» и «толпы» есть не большевистская, а эсеровская теория. Герои

делают народ, превращают его из толпы в народ – говорят эсеры. Народ делает героев – отвечают эсерам большевики. Книжка льет воду на мельницу эсеров. Всякая такая книжка будет лить воду на мельницу эсеров. Будет вредить нашему общему большевистскому делу. Советую сжечь книжку.

16 февраля 1938 года. И. Сталин

Он отложил папку, взял другую. Донесения о Троцком, о его IV Интернационале, «Бюллетени оппозиции» он просматривал ежедневно. «Сталинизм и фашизм представляют собой симметричное явление. Многими чертами своими они убийственно напоминают друг друга...» Троцкистская демагогия! Сходство большевизма и нацизма в ненависти к западным буржуазным демократиям, и прежде всего к чванливой Англии. У него с Гитлером общие враги, и эти враги соединят их в свое время. А пока ОН ведет свою игру с западными демократиями, пугает их Гитлером, Гитлер ведет свою игру, пугает их Сталиным. Но воевать против СССР, имея в тылу Англию и Францию, истощить себя в такой войне – на это Гитлер не пойдет. Троцкий это отлично понимает, предсказывает ЕГО союз с Гитлером, хочет оказаться пророком, не унимается. «Сталин уничтожает большевистскую партию... В историю Сталин войдет под презренным именем самого отвратительного из всех Каинов... Памятники, которые он соорудил себе, будут уничтожены или взяты в музеи и размещены в залах тоталитарных ужасов. И победоносный рабочий класс соорудит памятники несчастным жертвам сталинской злобы и подлости на площадях освобожденного Советского Союза... Сталинизм будет раздавлен, разгромлен и покрыт бесчестьем навсегда...»

Собирается раздавить, разгромить ЕГО! Мерзавец! Посмотрим, кто кого раздавит! Не справятся Слуцкий со Шпигельгласом, ОН найдет других людей, которые сумеют выполнить задание партии. Эта семейка должна быть вырублена под корень, ни один не должен остаться.

Из той же папки Сталин вынул список членов семьи Троцкого. Снова, в который раз, перечитал:

«Александр Давидович Бронштейн, старший брат Троцкого, – расстрелян в 37-м году в Курской тюрьме.

Борис Александрович Бронштейн, племянник Троцкого, – расстрелян в октябре 37-го года.

Ольга Давидовна, сестра Троцкого, – осуждена на десять лет тюрьмы.

Александра Львовна Сокольская, первая жена, – умерла в лагере.

Нина Львовна, старшая дочь Троцкого от первого брака, – умерла в 1928 году от туберкулеза.

Ее муж, Невельсон, – расстрелян в 1937 году.

Их дочь, Валя, 1925 года рождения, – затерялась в детприемнике НКВД (до сих пор не могут разыскать, дармоеды!).

Зинаида Львовна Волкова, младшая дочь Троцкого, – покончила с собой.

Ее муж, Платон Волков, – расстрелян в 37-м году.

Их сын, Всеволод Волков, 1926 года рождения, живет в Париже у своего дяди Льва Седова, старшего сына Троцкого.

Сергей Львович Седов, младший сын Троцкого, – расстрелян 29 октября 37-го года.

Александр и Юрий, племянники Троцкого, – расстреляны.

Живы: сам негодяй Троцкий, его вторая жена Наталия Седова, старший сын, Лев Седов, и одиннадцатилетний внук, Всеволод Волков. Прежде всего надо ликвидировать

Троцкого. Льва Седова трогать пока не следует. В большом доверии у него наш агент Макс Зборовский, через него имеем полную информацию. Сынок – потом, за папашей».

Зря он выпустил тогда Троцкого за границу. Вытащить бы на суд, как всех остальных мерзавцев. Постоял бы часов десять на одной ноге, все бы подписал. Негодяи Рыков и Бухарин оказались таким же дерьмом, как Зиновьев и Каменев. Конечно, изображают из себя «идейных»: «Я выполняю приказ партии и буду подтверждать на суде свои показания». Врут! Не выдерживают следствия и подписывают все, что им дают. Почему-то Ваня Будягин не стал «выполнять приказ партии». Уж как его ломали! Он специально посылал Андреева посмотреть. Андреев посмотрел и упал в обморок, какой слабонервный оказался член Политбюро. Человек, который смотрит, падает в обморок, а человек, с которым все это делают, не падает. Значит, крепкий человек. А те, кто подписывает, слабые люди. Ягода других ломал, а как за самого взялись, так сразу все и подписал. И Троцкий бы подписал. Если бы при нем допрашивали его жену, сыновей и внуков – все бы подписал. А не подписал, подох бы в тюрьме. Конечно, поднялся бы шум на Западе. Ну и что?! Какой ущерб могут они нанести Советскому Союзу? Никакого. Если выгодно, капиталисты готовы торговать с дьяволом. И процесс Бухарина – Рыкова тоже проглотят.

Процесс начать второго марта. Процесс открытый, с защитниками, с представителями прессы, дипломатического корпуса, интеллигенции, особенно с писателями. Бухарин у них специалист по поэзии, пусть послушают своего любимчика.

Его мысли прервал тихий короткий свист. Он прислушался... Пауза, и опять тихий короткий свист. Сверчок? Да, как будто бы сверчок. Откуда здесь сверчок? Он давно не слышал сверчка. В детстве, может быть... Не помнит он сверчка в Гори... В деревне, в ссылке слышал... Стрекотал по ночам. Не мешал ЕМУ, даже приятно было, спокойно, тишина подчеркивалась... Лежал, думал, а за печкой тихонько, одиноко стрекотал сверчок, робко стрекотал, не нахально... Но ведь здесь печки нет, здесь центральное отопление. Наверно, сверчки водятся не только на печках. Помнится, Надя водила детей в Художественный театр на спектакль «Сверчок на печи». Поэтому и решил, что сверчок водится только на печке, оказывается, не только на печке. Сказать Власику? А зачем? Будут искать, топтать сапогами, стронут с места книги. Кому он мешает, сверчок? Не вредный, не таракан, не клоп. Поет себе, стрекочет, пусть поет, пусть стрекочет, одиночка!

Сталин поднялся, надел шубу, шапку, прислушался. Сверчок умолк. Подождал немного... Нет, молчит сверчок, заснул, наверно.

Сталин вышел на крыльцо. Ночь была темной, хотя не ночь, семи, наверно, еще нет. Ярko горели огни в доме, в караульном и других помещениях. И дорожка от библиотеки к дому освещена висящими на столбах фонарями. И виднелись часовые у ворот и в будках вдоль забора. Сталин постоял, подышал холодноватым, по-февральски чуть влажным воздухом, пошел к дому.

Обедал один. Ежов дожидался в караульном помещении. Валечка убрала после обеда. Сталин приказал впустить Ежова.

Тот явился со своими папками, маленький, совсем карлик, с фиалковыми глазами. Малограмотный, тупой костолом. Не способен самостоятельно принимать правильные решения. Обращается к ЕМУ за каждой мелочью, требует санкции на любое действие, непонятно, кто нарком внутренних дел, ОН или Ежов. После его снятия можно будет освободить кое-кого из военных, показать, что Ежов их несправедливо осудил. Народ будет доволен. И ОН, и народ обманулись в Ежове. Беспробудный пьяница. Алкоголик. Значит, болтает. Такой свидетель ЕМУ не нужен. Берия его заменит. Берия неглупый и решительный человек, понимает ЕГО с полуслова.

Сталин указал на стул, предупредил:

– Болею немного, насморк. Так что держитесь подальше. Что у вас?

Ежов положил на стол протоколы последних допросов. Сталин их просмотрел. Все правильно. То, что он вчера велел добавить в показания, обвиняемые подписали.

Сталин закрыл папку.

– Как Будягин?

– По-прежнему не дает показаний, товарищ Сталин. Я сам допрашивал, и на очных ставках его уличали, и... Не признается, товарищ Сталин.

Сталин поднял тяжелый взгляд на Ежова:

– Справитесь с Будягиным?

– Обязательно, товарищ Сталин.

– Нет, – угрюмо сказал Сталин, – не справитесь. Я Будягина знаю еще по ссылке. И не мучайтесь с ним. Расстреляйте Будягина.

– Слушаюсь, товарищ Сталин.

– Что с Троцким?

– Есть важное сообщение, товарищ Сталин. Вчера вечером в Париже, в больнице, умер сын Троцкого – Лев Седов.

Сталин смотрел на Ежова своим неподвижным, тяжелым взглядом:

– Зачем умер?

– Я вам докладывал, товарищ Сталин. Возле него наш человек...

– Я спрашиваю: зачем умер? – перебил его Сталин.

– Было распоряжение товарища Слуцкого и Шпигельгласа.

– Я не у них, я у вас спрашиваю: зачем умер?

– Предполагалось, что после смерти Седова Троцкий заберет Зборовского в Мексику.

Сталин ударил кулаком по столу:

– Дураки, сволочи! После смерти сына Троцкий никогда не заберет Зборовского к себе. Наоборот, примет еще большие меры предосторожности. Идиоты! Подлая, вредительская акция! Шпигельглас саботирует главное задание. Слуцкий – человек Ягоды. Почему вы его до сих пор держите?

– Я вам докладывал, товарищ Сталин. Его арест напугал бы нашу заграничную агентуру, назначили в Узбекистан. На днях выезжает.

Сталин задумался, снова поднял тяжелый взгляд на Ежова:

– Уезжает... Устройте ему хорошие проводы.

9

Вадим проснулся в прекрасном настроении, вскочил, помахал немного руками, чтобы размяться, пошел в ванную.

– Ставь чайник! – крикнул Фене на кухню. У той, как всегда, было включено радио, передавали песни советских композиторов.

Обычно он немедленно приказывал «выключить шарманку», а тут, наоборот, стоя под душем, стал приптывать ногами под музыку, подтянул баском:

Эх, хорошо в стране советской жить,
Эх, хорошо страной любимым быть,
Эх, хорошо стране полезным быть...

Да, замечательный день, чудесный день... И, продолжая петь, прошествовал на кухню. Вкусно пахло гренками, Феня подседа к столу, глядела на него умильно.

– Значит, сам Калинин тебе орден подписал?

– Не орден, Калинин подписал указ о награждении.

– Вот счастье-то, вот счастье...

Феня искренне радовалась за него, а вот отец принял это известие равнодушно, скользнул по газете безразличным взглядом. И напрасно: в стране несколько тысяч писателей, а наградили орденами всего 172 человека! Шолохова, Фадеева, Твардовского, Катаева, Маршака, Михалкова, Гладкова. И рядом с этими корифеями, папочка, стоит имя твоего сына, на, посмотри! Вот как высоко его оценили!.. И у Фени спроси, пачками идут телеграммы с поздравлениями: из газет, журналов, издательств, театров, киностудий, всяких комитетов и ведомств...

– Всех дружков ты обскакал, балаболок этих, – поддела Феня Ершилова, не любила его, поджимала губы, когда он приходил, хоть и неграмотная, а женская интуиция не обманывает. Ершилов – лучший друг, казалось бы, а пробубнил какие-то общие слова, поздравляя: завидует, почему Марасевичу дали орден, а ему нет. – Ты у нас всех умнее, – добавила Феня и, как когда-то в детстве, погладила рукой по голове.

И тут зазвонил телефон – Женька Делановский.

– Ну, что, Вадим, бурят-монголы?..

Хотел сказать, что придется бурить в лацкане пиджака дырочку для ордена. Не высшего сорта шуточка. Женька Делановский учился с Вадимом в одной школе в Кривоарбатском переулке, на три класса младше. Школьником печатал стихи в «Пионерской правде», дорос и до «Комсомолки». Способный парень, но развязный. Эти его доморощенные остроты, дурацкие каламбуры, не может слова произнести без рифмы... Как-то в писательском ресторане спросил Вадима: «Кого будешь завтра ермиловать?» Мол, тебе покровительствует Ермилов, по его наущению и критикуешь нашего брата. Одно слово у Альтмана, одна фраза в очередном донесении – и от Женьки останется мокрое место. Но мелкая рыбешка, пусть живет, пусть дышит. Однако осадить придется. И поэта Васильева тоже надо осадить!

– С «Веселыми ребятами» тебя!

Так называли орден «Знак Почета» – на нем изображены молодые рабочий и работница. Но одно дело шутить вообще, абстрактно, и другое дело таким образом приносить поздравления: звучит унижительно, припомним при случае.

Опять звонок – Клавдия Филипповна, редакторша из Гослитиздата:

– Заслуженная, заслуженная награда.

Так прошел весь день. Вадим сидел возле телефона, принимал поздравления, в перерыве между звонками вертел в руках «Правду» со списками награжденных: купил в киоске десять экземпляров. Девять положил в стол, а на десятом подсчитывал – сколько награждено москвичей, сколько ленинградцев, киевлян, сколько критиков, сколько людей его возраста. Выходило, что из молодых столичных критиков он, в сущности, единственный, кто награжден.

Вечером Вадим поехал в Союз писателей на митинг. Выступали наиболее именитые, благодарили партию, правительство, лично товарища Сталина за отеческую заботу о советской литературе. И когда упоминался товарищ Сталин, все вставали и хлопали. Резолюцию с благодарностью партии, правительству и лично товарищу Сталину приняли единогласно под бурные аплодисменты.

Где бы теперь ни появлялся Вадим, всюду его встречали радостными приветствиями. Вадим ездил по редакциям, ходил из комнаты в комнату, из отдела в отдел, как бы по надобности, а на самом деле чтобы показаться и получить свою долю улыбок и поздравлений. И если в каком-нибудь отделе на него не обращали внимания, обижался – не за себя, конечно, а за советскую литературу: не читают газет, идиоты. А ведь работают на идеологическом фронте!

И все же, поздравляли его или не поздравляли, исполнилось наконец его давнее желание. Те, главные, признали его своим. Отмеченный высокой правительственной наградой, он теперь причислен к ним, хозяевам и распорядителям жизни. Теперь его должны прикрепить к кремлевской поликлинике, много ли у нас писателей-орденоносцев? Хорошее слово «орденоносец», хорошо звучит. Во Франции обладатель ордена называется «кавалер ордена Почетного легиона». Но «кавалер» – нечто легковесное, гривуазное, чисто французское, что-то от дамского угодника. «Орденосец» – чисто советское слово, сильное, мощное, как «оруженосец», «броненосец» или, еще лучше, «меченосец» – означает принадлежность к рыцарскому братству, звучит сильно, по-мужски. А как насчет «рогоносца»?

Поговаривали, что список награжденных просматривал сам товарищ Сталин и будто бы остался недоволен Катаевым за не слишком лестную оценку творчества Михалкова и, рассердившись на Катаева, велел дать Михалкову более высокий орден, чем было намечено. Теперь Сережа Михалков пойдет в гору, ничего не скажешь – талант, любимый детский поэт. А вот Катаеву не поздоровится. И правильно, типичный одесский нахал, заносчивый и беспардонный... Но что было сказано в его, Вадима, адрес? Наградили – значит, говорилось хорошо. Но что именно и кто сказал? Может быть, сам товарищ Сталин? «Вот, мол, попались мне статьи Марасевича... Это тот самый Марасевич?» – «Да, товарищ Сталин, тот самый». – «Ну что ж, способный человек и стоит на правильных позициях. Надо поощрять молодые таланты». Возможно, конечно, ничего подобного и не было. Товарищ Сталин мог просто спросить, кто, мол, этот Марасевич, ему доложили, и Сталин оставил Вадима в списке. Но хотелось бы знать в подробностях. Кого же спросить? Не идти же к Фадееву: «Александр Александрович, что обо мне сказал товарищ Сталин?» Фадеев выпучит на него красные после очередного запоя глаза: «Разве вы знакомы, он даже имени вашего не упоминал».

И еще одно: утверждая список, знал ли товарищ Сталин, что он, Вадим, одновременно и «Вацлав»? Ясно, что список апробирован на Лубянке, его оставили. Значит, уверены в нем, и товарищ Сталин уверен.

Когда же будут вручать ордена? Конечно, в Кремле, конечно, Калинин, но когда он наконец прикрепит орден к лацкану пиджака, когда наконец все увидят, что он орденосец?

В Театре Вахтангова директор и худрук его поздравили, а актеры – никто, не читают газет, черти, зубрят свои роли и больше к печатному слову не прикасаются. Даже Вероника Пирожкова, которая при каждой встрече ему обязательно говорила что-нибудь приятное, и

та об ордене ни слова – не знает. Обидно. Пирожкова, как и все здесь, относилась к нему с пиететом, но без обычного актерского заискивания перед театральным критиком. Худенькая, в кудряшках, блондинка неопределенного возраста – то ли 18, то ли 30, с капризным ротиком, открытыми голубыми глазами, которые всегда улыбались Вадиму. Пирожкова называла его не Вадимом Андреевичем, как все, а просто – Марасевич, и в ее улыбке было некое поддразнивание – не то насмешка над важностью его персоны, не то насмешка над тем, что он никак не откликается на ее внимание. Но Вадим в свои 28 лет еще не знал женщины и, когда возникали такие отношения, робел, хотя Пирожкова нравилась ему. Ее взгляд, насмешливая улыбка, фамильярное «Марасевич» волновали его. Пирожкову использовали на вторых ролях, и все же Вадим в одной из своих рецензий отметил: «Убедительна была В.Пирожкова в эпизодической, но характерной роли Анны». Вероника тогда в театре при всех его поцеловала: «Спасибо, Марасевич!» Актеры и актрисы любят целоваться по поводу и без повода, но поцелуй Пирожковой его обжег. После этого он по ночам рисовал себе их встречи, ее объятия и поцелуи, представлял ее нагой, вставал, ходил по комнате, чтобы не вернуться к тому, чем он занимался в детстве и от чего отец его отучил...

Наконец состоялось! В Кремле. Вручил сам Михаил Иванович Калинин.

Выкликнули Вадима! Он подошел. Михаил Иванович протянул ему коробочку с орденом, наградное удостоверение, пожал руку, не просто улыбнулся – он каждому тут улыбался, а доверительно, как хорошему знакомому. И руку протянул не официально, а пожал сердечно. Когда перешли в другой зал и усаживались для группового портрета, Калинин, сидевший в первом ряду, обернулся, искал кого-то глазами, но не нашел. Вадим был уверен, что именно его он ищет, может быть, и не читал его статей, но отца знает, отец его лечит. Досадно, что никто этого не заметил, каждый упоен своей наградой, своим орденом, убежден, что именно ему Калинин оказал особое внимание, именно его персона тут главная.

Дома Феня проколола в лацкане пиджака дырочку, обшила нитками, Вадим закрепил в ней орден, надел пиджак, посмотрел в зеркало. Потрясающе! И Феня, стоя в дверях, любовалась:

– Хорошо, Вадимушка, красиво, ну прямо как народный комиссар какой, ей-богу!.. – Голос ее вдруг задрожал. – Вот бы Сергей Алексеевич поглядел, порадовался бы, любил он тебя, Вадимушка, с малых лет любил.

Идиотка, вспомнила этого глупого парикмахера, всю радость испортила.

А впрочем, почему испортила? Ничего не испортила. С парикмахером кончено, он не собирается всю жизнь терзаться из-за него, сам виноват! Не такие головы летят, не такие люди признаются, а он не захотел. И хватит думать об этом!

На следующий день Вадим снова ездил по редакциям, снимал пальто в гардеробе и шествовал по кабинетам с орденом на груди. Все его поздравляли, любовались орденом. И те, кто прошлый раз не знал о награждении, присоединялись к общему хору. Вадим принимал поздравления скромно, достойно, никакой тут его личной заслуги нет, это не его, это советскую литературу наградили, а вот за советскую литературу он искренне рад и горд.

Вечером Вадим пошел в Театр Вахтангова, разделся в кабинете администратора и поспешил за кулисы, как бы разыскивая кого-то, открыл дверь уборной, где в числе других статистов готовилась к спектаклю Пирожкова, увидел полуодетых девиц перед зеркалами... Ах, пардон, простите... Но Вероника Пирожкова его заметила, вскочила, втащила в комнату.

– Девочки, смотрите, нашего Марасевича наградили орденом!

Бросилась ему на шею, расцеловала, и остальные девочки тоже вскочили и расцеловали Вадима.

– Простите, – бормотал Вадим, – я ищу Комарова...

– Комарова? – переспросила Вероника. – Он здесь, я его вам найду.

Они вышли в коридор, Вероника зашептала:

– Вы сегодня вечером свободны?

У Вадима замерло сердце.

– Да...

– Отметим ваше награждение, я занята только в первом акте.

– С удовольствием. Поедем в ресторан.

Она замотала головой:

– Нет-нет, нельзя, кругом сплетники, скажут, окручиваю вас... или еще какую-нибудь гадость.

У нее задрожал голос, на глазах выступили слезы...

– Что вы, что вы! – испугался Вадим. – Зачем вы плачете? Не надо.

Она вытерла глаза платочком.

– Не люблю, когда обо мне плохо говорят. Просто я рада, что вас наградили. Для меня это праздник. Поедьте лучше ко мне, посидим, музыку послушаем, живу одна, хорошо?

– Хорошо, – едва проговорил Вадим.

– После первого акта я жду вас на улице, у служебного входа.

Она чмокнула его в щеку и убежала.

Вадим промучился первый акт, не видел, что происходит на сцене. Свидание с женщиной наедине, в ее комнате... «Живу одна...» Почему одна? Приехала из Пензы, что-нибудь снимает, наверное, или замужем, муж в командировке... А вдруг нагрянет?! Нет, его, орденосца, не посмеет тронуть. Страшило другое... Вдруг не получится. Уже два раза так было. Вдруг опять?! Но деваться некуда, Пирожкова будет ждать на улице, на морозе. И как уйти после первого акта? Подумают, что ему не понравился спектакль, будет сочтено зазнайством новоявленного орденосца: нравится не нравится, критик должен высидеть спектакль до конца. Придется сделать вид, что уходит по срочному делу.

В антракте, появившись в комнате администратора, Вадим схватил телефонную трубку, набрал какие-то цифры, сделал вид, будто кто-то ему ответил, даже попросил всех быть потише.

– Да, да... Когда? Ах, так... Понятно... Хорошо, хорошо. Я немедленно выезжаю. Да, сию секунду. Позвоните, скажите, через двадцать минут буду.

Положил трубку, обвел всех многозначительным взглядом:

– К сожалению, должен срочно уехать!

– Что-нибудь случилось, Вадим Андреевич?

– Вы-зы-ва-ют! – произнес Вадим так, будто его вызывают в самые высокие инстанции, может быть, даже в ЦК.

Зашли с Вероникой в гастроном на улице Горького. Вадим купил портвейн, колбасу, сыр, масло, маринованные огурчики в банке, вяленую рыбу, покупал широко, хотел покрасоваться перед Пирожковой. Она качала головой: «Марасевич, Марасевич, зачем так много?» А сама тем временем оглядывала прилавки: нет ли еще чего-нибудь вкусенького.

Вероника жила в Столешниковом переулке (отметила с гордостью: «В самом центре живу»), в большой коммунальной квартире. Проходя по коридору, показала:

– Вот уборная, вот ванная. Ни на кого не обращайтесь внимания. Мещане!

Произнесла громко, нисколько не заботясь о том, услышат ли ее соседи.

Небольшая, скудно обставленная комната. Вероника подвела Вадима к окну:

– Смотрите, Марасевич, какой красивый вид...

– Прекрасный, – согласился Вадим, хотя было темно и он ничего не увидел.

За спиной что-то скрипнуло, Вадим испуганно оглянулся.

Дверь шкафа открылась, вывалилось скомканное платье, Вероника сунула его обратно, закрепила дверь, просунув в щель свернутую газету.

– Так, теперь тапочки надевайте. Легче ведь, правда?

– Очень удобно.

– И пиджак долой! – распорядилась Вероника. – Здесь тепло, топят.

Она помогла ему снять пиджак, повесила на спинку стула, потом выложила закуски. У нее было только две тарелки, на одну положила сыр, колбасу и масло, на другую рыбу. Хлеб нарезала на газете.

– Будем закусывать по-студенчески. Не привыкли к такой сервировке?

Он протестующе поднял толстые плечи:

– Ну почему же?

– Временные трудности, – загадочно произнесла Вероника, – и мещанства не люблю... Открывайте бутылку, Марасевич. Штопор? Чего нет, того нет. В этом доме я вино пью первый раз, в честь вашего ордена. Цените, Марасевич?

– Конечно-конечно...

– Бутылку хлопните снизу, ладонью... Видали, как мужики делают?

Вадим повертел бутылку в руках, неумело ударил ею о ладонь.

– Давайте по-другому. – Вероника забрала у него бутылку. – Проткнем пробку, и все дела. У меня, кстати, отвертка есть.

И заработала отверткой.

– Пробка опустится на дно, в ней ничего вредного нет...

Справившись с пробкой, налила вино в две граненые стопки, подняла свою.

– За высокую и заслуженную, чувствуете, Марасевич, заслуженную правительственную награду!

И, чокнувшись с Вадимом, выпила всю стопку.

Вадим отпил только половину.

Она замотала кудряшками:

– Так не пойдет, за орден надо выпить, иначе носиться не будет.

Вадим допил стопку. Она протянула ему огурчик на вилке:

– Закусывайте, берите рыбку, а я вам бутерброд намажу. – Сделала ему бутерброд с маслом, колбасой и сыром. – Попробуйте трехслойный.

Вадиму понравилось, ел с аппетитом и рыбу, и колбасу, и сыр. К тому же боялся захмелеть, тогда наверняка ничего не получится.

Между тем Вероника налила по второй.

– Теперь за вас, – сказал Вадим, – за ваши успехи в театре, за то, чтобы по достоинству оценили ваш талант.

На ее лице появилась гримаса.

– В театре мало одного таланта. Актеры кусочники, каждый норовит другому ножку подставить. Ладно, не хочу об этом. Сегодня твой день, твой праздник... Ой, Марасевич, я уже на ты перешла.

– Прекрасно. И я тебе буду говорить «ты».

– Тогда надо выпить на брудершафт. – Она запела: – На брудершафт, на брудершафт, Марасевич, Марасевич, будем пить на брудершафт.

Они перекрестили руки, выпили, расцеловались.

Вероника поставила свою рюмку на стол.

– Нет! Так на брудершафт не пьют!

Она придвинулась со стулом к Вадиму, обняла его за голову, поцеловала долгим поцелуем, посмотрела ему в глаза тоже долгим, серьезным, даже страдающим взглядом, неожиданно сказала:

– Хочешь яичницу? Яичница с колбасой, знаешь, как вкусно!

Мелко нарезала колбасу, положила на тарелку четыре яйца, кусок масла, отправилась на кухню.

Вадим остался один. Страх перед возможной неудачей окончательно овладел им. И тогда опять будет, как уже бывало, плохо скрываемое презрение, зевота, убегающий взгляд, равнодушное расставание. И в театре поделится с подружками: «Марасевич – импотент». Не надо было идти, не следует связываться с женщиной из тех кругов, где его знают. А может, и получится. Есть в этой Пирожковой что-то уверенное. И ему надо быть увереннее, так и врач ему сказал: «Все у вас в порядке, только не теряйтесь, все через это проходят». Может быть, сегодня все и произойдет. А если нет, он притворится опьяневшим. «Сама виновата, напоила меня».

Вернулась Вероника со сковородкой в руках, разрешила яичницу, налила вина себе, Вадиму.

– Давай за счастье выпьем. За счастье, Марасевич!

– За твоё счастье! За твою удачу!

Глаза ее опять наполнились слезами.

– Что ты, что с тобой? – заволновался Вадим.

Она вытерла глаза:

– Так, ерунда, вспомнилось всякое. Все, поехали!

Закусывая яичницей, говорила:

– Теперь тебя в театре будут еще больше бояться, увидишь! Они притворяются, что уважают, а на самом деле боятся. Бабы наши – все эти народные и заслуженные – шлюхи, любая под тебя ляжет, только похвали ее в рецензии. А ну их к свиньям собачьим! Давай потанцуем!

– Я плохо танцую! И к тому же, – он показал на бутылку, – выпил.

– Сколько ты выпил?! Ерунда! Ладно, не хочешь танцевать, давай в карты сыграем. – У нее в руках появилась колода замусоленных карт, где взяла, Вадим не заметил. – Игра простая, смотри, буду снимать сверху карту, а ты отгадывай: черная или красная. Угадаешь, я с себя что-нибудь сниму, не отгадаешь, ты с себя. Ну, говори, Марасевич! Черная или красная?

– Красная, – пролепетал пораженный Вадим, – не слыхал про такую игру.

Она открыла верхнюю карту – оказалась бубновая семерка.

– Смотрите, господа, Марасевич угадал! Я проиграла, снимаю пояс.

Сняла с себя пояс.

– Угадывай дальше!

– Красная, – прошептал Вадим.

Она сняла карту – туз червей.

– Опять угадал. Ты, Марасевич, колдун какой-то.

Она встала, через голову стянула с себя платье, осталась в белой шелковой комбинации на тоненьких бретельках, низко вырезанной, так что виднелась грудь.

Вадим боялся поднять глаза.

Вероника снова взяла в руки колоду.

– Какой цвет?

– Красный, – повторил Вадим.

Она открыла карту – дама трэф!

– Не угадал, Марасевич, не угадал, – радостно запела Вероника. – Бог правду видит, не все тебе выигрывать! Стаскивай чего-нибудь!

– Я галстук сниму, – робко произнес Вадим.

Она сама развязала ему галстук, положила на стол.

– Поехали!

– Черная...

Вышла десятка бубен.

– Я часы сниму, – сказал Вадим.

– Марасевич хитрый! Разве часы – это одежда? Пуловер снимай! Снимай, миленький, снимай, не жульничай... – Она вдруг бросила карты на стол. – Слушай, Марасевич, что мы в детские игры играем, теряем время? Я тебе нравлюсь?

– Конечно-конечно, – забормотал Вадим.

– И ты мне нравишься, давай ляжем в постельку, мы же взрослые, сознательные люди, раздевайся, мой золотой. – Она подняла комбинацию, отстегнула резинку, сняла чулок. – Хочешь, свет погашу?..

В темноте он слышал, как она двигается, разбирает постель, потом услышал скрип матраса и ее голос:

– Сейчас согреем постельку для Марасевича, тепло будет, уютно, ну, Марасевич, иди ко мне, не бойся, все будет хорошо... Ну, иди, иди, копульчик мой дорогой, дай руку. – Она нащупала его руку, пошарила по телу, помогая снять кальсоны. – Скучно без тебя в постели, плохо в кроватке без Марасевича... Ложись, миленький, ложись и ничего не бойся... Я все сделаю сама, тебе будет хорошо... Вот увидишь!

Действительно, получилось хорошо. Умелая, опытная, все сделала как следует. Вадим впервые испытал наслаждение, загордился собой – мужчина все-таки! И во второй раз получилось! Вероника жарко шептала в ухо: «Правильно, миленький, правильно, хорошо, не торопись, спокойненько, вот так, хорошо, хорошо!»

У нее было гибкое горячее тело, маленькие груди, он положил на них ладонь. Она прижала ее сверху своей рукой.

– Бабы наши – обер-бляди, пробы негде ставить. А как ломаются, целок из себя строят! Даст обязательно, но прежде разыграет невинность. А вот ты мне нравишься, и я ничего предосудительного в этом не вижу. Зачем же ломаться? Правильно я говорю, Марасевич?

– Конечно, конечно, – соглашался Вадим.

Он лежал, повернувшись к Веронике, вдыхал возбуждающий запах ее тела, был счастлив и улыбался в темноте.

10

Зарплату ребятам выдавала Нонна. Бабенка лет тридцати, бойкая, деловая, помощница Семена Григорьевича и его любовница. Каждый расписывался в ведомости, все честь по чести, законно.

Однажды вышло так, что получали зарплату все вместе.

– По этому случаю надо выпить, – объявил Глеб.

– Вот именно, – добродушно согласился Ленья. – Утром Стаканов, днем Бусыгин, вечером Кривонос.

Это были имена известных передовиков труда. Стаханова Ленья переделал в Стаканова, Бусыгин – значит «бусой», пьяный, произнося фамилию Кривонос, Ленья пальцем отжимал нос в сторону: мол, разбился по пьяной лавочке.

Каневский молчал.

– Что молчишь? – спросил Глеб. – Пойдем с нами.

– Не знаю, – нерешительно ответил тот, – я питаюсь дома, у хозяев.

– Работаем вместе, получку получили, есть порядок – обмыть!

Каневский скривил губы:

– Если такой порядок – пожалуйста!

– Только без одолжений, – предупредил Глеб. – Мы в одном коллективе, должны держаться друг друга.

В ответ Каневский скорбно-презрительно улыбнулся.

В ресторане уселись в дальнем от оркестра углу. Глеб говорил, что за день уже нахлебался музыки. Заказали бутылку водки, по кружке пива, селедку с картошкой.

Глеб поднес бутылку к рюмке Каневского, тот прикрыл ее ладонью:

– Спасибо, я не пью водки.

– Может быть, тебе шампанского заказать? Какого? Нашего, французского? Не портить компанию, Каневский, очень ты большой индивидуалист.

– Хорошо, – сказал вдруг Каневский и поднял рюмку.

– Вот и молодец! – Глеб улыбался, обнажая белые зубы. – Это по-нашему.

Все выпили, закусили, потом рванули по второй, Глеб заказал еще бутылку, еще по кружке пива и всем по свиной отбивной. Саша с беспокойством поглядывал на Каневского. Человек непьющий, окосеет, возись тогда с ним, тащи домой, черт его знает, где он живет. Саша сделал Глебу знак, кивнул на Каневского: мол, хватит ему.

Однако Глеб сказал:

– Хорошо сидим! Выпьем, чтобы в городе Уфе и во всей Башкирской Республике процветали западноевропейские танцы! Правильно, Саша, я говорю?

– Правильно, правильно, только я думаю, Мише хватит. – Саша переставил рюмку Каневского себе. – Не возражаешь?

– Пожалуйста, – скривил губы Каневский, – могу пить, могу не пить.

– Закусывай! Видишь, какая у тебя котлетка? С жирком. Меня один старый шофер учил: закусывай жирненьким и пьян не будешь.

– Это точно, – подтвердил Ленья, – жир впитывает в себя алкоголь, не дает ему проникнуть в организм.

– Пожалуйста. – Каневский склонился к тарелке. – Закусывать так закусывать, жирненьким так жирненьким.

Слава Богу! Кажется, не надрался, аккуратно уминает свиную отбивную.

– Я хочу продолжить свой тост. – Глеб снова поднял рюмку. – Значит, за процветание западноевропейских танцев среди всех народов Башкирской Республики: башкир, татар,

русских, украинцев, евреев, черемисов, мордвы, чувашей и так далее... Некоторые на нас косятся: мол, халтурщики, люди вкалывают на производстве, а вы ногами дрыгаете, деньгу сшибаете. Нет, дорогие! Мы – люди искусства, социалистической культуры, социализма без культуры не бывает!

– Непонятно, о каком социализме вы говорите, – сказал вдруг Каневский.

– То есть как?! – опешил Глеб. – Я говорю о нашем социализме, который победил в нашей стране.

– Социализм не может быть наш или не наш, – глядя в тарелку, сказал Каневский, – социализм – это абсолютное понятие. Немецкие фашисты тоже называют себя социалистами. Вообще, пока существуют армия, милиция и другие средства насилия, нет социализма в его истинном значении.

Глеб растерянно молчал, потом заулыбался:

– Смотрите-ка, Каневский, оказывается, теоретически подкованный товарищ, а я и не знал. – И заторопился: – Ладно, ребята, давайте по последней.

Все, кроме Каневского, допили. Глеб потребовал счет, объявил, сколько с каждого, все выложили деньги. Вышли на улицу. Было часов десять вечера. Моросил дождик. Каневский нахохлился, поднял воротник пальто.

– Ну, кто куда? – не то спросил, не то распрощался таким образом Глеб и пошел с Сашей.

Пройдя несколько шагов, спросил:

– Что скажешь, дорогуша?

– Ты о чем?

– О Каневском. Построить социализм в одной стране невозможно. Это ведь теория Троцкого. Вспомни, дорогуша.

Глеб прав, но не хотелось топить Каневского.

– Он говорил не о нашем, а о немецком, фашистском государстве.

– Нет, дорогуша, меня на кривой кобыле не объедешь! Как он сказал? Вообще нет социализма, пока существуют армия, милиция... Заметь, не «полиция», а «милиция»... Дорогуша! Это же про Советский Союз сказано.

– Милиция, полиция, подумашь! Не строй из мухи слона.

– А если эти слова завтра станут известны там, – он кивнул в сторону улицы Егора Сазонова, где находился НКВД.

– Откуда они станут известны?

– Откуда? От верблюда! Допустим, от меня.

– Вот как?!

– Да, да! Разве ты все обо мне знаешь? А может быть, и от тебя!

– Даже так?!

– Да, дорогуша, даже так. Я тоже не все о тебе знаю. А возможно, от Лени. Мы оба его не знаем. Или от самого Каневского. Кто он такой? Нас потащат и спросят: говорил он такое? Говорил. Почему не сообщили? Вот тебе и статья: за недонесение. В лучшем случае. А в худшем – троцкистская группа.

Глеб вдруг остановился, повернул к Саше налитое кровью лицо, затряс кулаками, чуть не закричал:

– Мне иногда реветь охота, как голодной корове! Позвали человека в компанию, ну посиди тихо, спокойно, проведи время по-человечески, в кругу друзей... Нет, надо болтать черт-те что, выпендриваться, подводить людей под монастырь!

Саша впервые видел его в таком состоянии.

– Успокойся, – сказал Саша, – я не вижу причин для истерики. Чего испугался, подумаешь! Держи себя в руках. Такие дела раздуваются людьми с перепугу, а потом они сами от этого и страдают.

Они дошли до угла.

– Мне сюда, – неожиданно спокойно сказал Глеб.

– Ты все же подумай над тем, о чем я тебе говорил.

– Обязательно, дорогуша, обязательно, – пообещал Глеб.

– Выспись и утром на свежую голову подумай.

– Так и будет, дорогуша. Опохмелюсь и подумаю.

Глупая история. Каневский – дурак и псих. Нарвется когда-нибудь и других подведет. Но сегодня разговор был чепуховый. И если Глеб не будет трепаться, на этом инцидент закончится.

Инцидент на этом не закончился.

Дня через два у Саши появился новый аккомпаниатор: Стасик – пианист и баянист, веселый, расторопный паренек. С работой освоился сразу, где-то поднатаскался. Но, как и Ленья, «слухач» – ноты читать не умел. Естественно, той игры, того изящества, что у Каневского, не было и в помине.

Вечером в ресторане, за ужином, Саша спросил Глеба:

– Куда девался Каневский?

– Не будет у нас больше Каневского. Уволил его Семен.

– За что?

– На окраины перемещаемся, дорогуша, на всякие макаронные фабрики, а там рояля нет, значит, нужен третий баянист. Стасик, как и я, двухстаночник.

Саша поставил рюмку на стол.

– А ведь ты врешь.

– Брось, дорогуша, – поморщился Глеб, – ну что ты привязываешься?

– Что ты сказал Семену?

– А ты все хочешь знать?

– Да, хочу.

Глеб выпил, вилкой подхватил кусочек селедки.

– Ну что же, я сказал: избавляйтесь от Каневского. Болтает чересчур.

– А что именно болтает, ты Семену сказал?

– Зачем Семену знать, кто что болтает? За то, что знаешь, тоже приходится отвечать. Может, Каневский болтал, что ему мало платят? Семен, дорогуша, не лыком шит; раз человек болтает, лучше избавиться от него.

Он снова налил себе, взглянул на Сашину рюмку.

– Так не пойдет. Думаешь, я один эту склянку усiju?

Они выпили оба.

– Угробил ты человека, – сказал Саша.

– Я?! Да ты что?

– Выбросили на улицу, оставили без куска хлеба.

– Не беспокойся, без хлеба он не останется. – Глеб кивнул на оркестр. – Вот он, кусок хлеба, да еще с маслом.

– Зачем ты все-таки добавил Семену, что Каневский болтает? Чтобы увесистей было, чтобы уволили наверняка?

– Да, дорогуша, именно для этого и добавил. Я не желаю работать с мудозвонком, который при людях несет такое, за что меня завтра могут посадить.

Саша молчал.

– Осуждаешь меня? – спросил Глеб.

– Да, осуждаю.

– Ах, так, – усмехнулся Глеб, – ладно!..

Он налил себе еще рюмку, выпил не закусывая, икнул, был уже на взводе.

– Расскажу тебе одну историю про моего друга. Хочешь послушать?

– Можно послушать.

– Тогда слушай.

11

Глеб поднял бутылку, она оказалась пуста.

– Ладно, дорогуша, расскажу тебе эту историю, а потом примем еще по сто. Итак, был у меня друг, хороший друг, верный друг, в Ленинграде. Жили мы в одном доме, в одном подъезде, на одной площадке, ходили в одну школу. Был он первый ученик и по литературе, и по математике, даже по физкультуре. Из простых новгородских мужиков, но самородок! Ломоносов! В университет на физмат прошел по конкурсу первый. Идеальный! Еще в девятом классе прочитал «Капитал» Карла Маркса. Не пил, не блядовал, правда, курил. Русоволосый, синеглазый, статный, красавец мужчина! И главное, душевный, все к нему шли, и он, что мог, для каждого делал. И вот, понимаешь, какая штука... Подался мой друг в троцкистскую оппозицию еще студентом, в институте выступал открыто, взглядов своих не скрывал! Ты спросишь, почему дружил со мной, с беспартийным и безыдейным? Я, дорогуша, человек легкий, но человек верный, это он знал. За это, думаю, и любил. И все мне рассказывал. Конечно, всякие там тайны не выкладывал, имен не называл, дело уже повернулось к арестам, высылкам, но взглядами делился.

Глеб поманил пальцем официанта, показал на графинчик:

– Тащи еще двести!

– Может, хватит? – сказал Саша.

– Ничего, по сто граммов не помешает.

Глеб налил Саше, себе.

– Одного человека он напрочь не принимал.

И скосил глаза, Саша понял – речь идет о Сталине.

– Называл его «могильщиком Революции». Всех разговоров и не помню, но отчетливо запомнил именно насчет социализма в одной стране. Поэтому, дорогуша, меня так и задел Каневский. Раньше я это слышал от друга, которому доверял, а Каневского я не знаю. Друг мой говорил, что построить социализм в одной стране нельзя. А те, кто говорит, что можно, хотят превратить нашу страну в «осажденную крепость», в «окруженную врагами цитадель», то есть ввести, в сущности, военное положение, создать условия для единоличной диктатуры одного человека, для террора и репрессий. И утверждать, что у нас в стране, мол, уже построен социализм – значит компрометировать саму идею социализма и в конечном счете угрожать ему. – Он замолчал, уставился на Сашу, глаза были мутные.

– Давай отложим твой рассказ до другого раза, – сказал Саша.

Глеб исподлобья посмотрел на него.

– Думаешь, за-го-ва-ри-ваюсь? Нет, никогда, ни-ког-да!

Придерживаясь за стол, поднялся.

– Пойду пописаю. А ты закажи чаю, только крепкого-крепкого, как чифирь. Знаешь чифирь?

– Знаю. Официант может не знать.

– Объясни.

И направился в уборную, не слишком твердо шагал, пошатывало.

Любопытная вырисовывается картина. И неожиданная. Выходит, не просто выпивоха, не просто богема, пусть и провинциальная, как он привык думать о Глебе. Всегда осторожничал, а тут с симпатией говорит о троцкисте, а троцкистов сейчас можно только поносить и проклинать. Колхозница в глухой деревне в «кругу» на улице пропела старую, двадцатых годов частушку: «Я в своей красоте очень уверена, если Троцкий не возьмет, выйду за Чичерина». И схватила десять лет лагерей «За троцкистскую агитацию и пропаганду». Брякнул человек: «Троцкий был мировой оратор» – десять лет. «Троцкий, конечно, враг, но

раньше был второй после Ленина» – опять десять лет. Такая вот обстановка. А Глеб откровенничает...

Официант поставил на стол два стакана чая в подстаканниках. Чай густо-коричневый, почти черный, такого цвета добиваются, примешивая к чаю еще что-то, жженный сахар, что ли, Саша забыл.

Вернулся Глеб, посвежевший, улыбался во весь свой белозубый рот, волосы мокрые, причесанные – видно, окатил голову холодной водой. Хлебнул чая.

– Хорошо! Так на чем же мы с тобой остановились, дорогуша?

– Я предложил тебе закончить свой рассказ в следующий раз.

– Не пойдет. Ты уж дослушай до конца.

Саша всегда поражался, как много мог выпить Глеб и как мгновенно при надобности трезвел. Он выпивал и перед занятиями, и даже во время занятий, приносил с собой, но ни разу за роялем не сбился с такта, не сфальшивил.

– Такой человек был мой друг, – снова начал Глеб, – и, конечно, его посадили еще в конце двадцатых годов. Долго он не просидел, начали видные троцкисты подавать заявления: мол, никаких больше с партией разногласий нет, подчиняемся ее решениям и просим восстановить в ее рядах. Из ссылки их вернули, и мой друг тоже вернулся в Ленинград. Заходил ко мне, сидели мы, разговаривали, и понял я, что разочаровался он во всем, решил заниматься только наукой. Восстановили его в институте на физмате, женился на хорошей девочке, родила она ему сына, он от мальчишки без памяти, стипендия, конечно, маленькая, давал уроки физики, математики. Все, как у нормального человека. В партии числился формально, восстановили его автоматически, и очень, знаешь, угнетала его партийность эта, он и собрания пропускал, и поручений не выполнял, все надеялся, что за пассивность его исключат и будет он жить совсем спокойно. Но, однако, дорогуша, жить ему спокойно не удалось.

Голос у Глеба осекся, он замолк на минуту, поставил локти на стол, обхватил голову руками.

– Давай еще по сто граммов рванем...

Официант принес еще двести граммов. Глеб выпил, пожевал колбасу.

– Да... Заявились как-то к моему другу бывшие товарищи по ссылке, и пошли всякие разговоры. Тогда Гитлер к власти пришел, вот они это обсуждали. Сталин и Гитлер, мол, одно и то же, чувствуешь? Болтали между собой всякое. Ему бы, дураку, их оборвать, отрубить: мол, я политикой не занимаюсь, и прекратите разговоры на эти темы или вообще больше ко мне не приходите. Характеру, что ли, не хватило, мягкий человек был, или такая уж крепкая дружба в ссылке возникает – не оборвешь, или боялся прослыть обывателем, а то и трусом, доверял, может быть, этим людям, считал такими же порядочными, каким был сам. Может быть, они и были порядочные, но трепачи, тюрьма и ссылка их ничему не научили, значит, болтали они не только у моего друга... Все же, когда пришли во второй раз, он им дал понять, деликатно, конечно, ведь интеллигент, что принимать их у себя не может: одна комнатка в коммунальной квартире, ребенок спать должен и сам он работает по вечерам. И больше они не являлись. Думал он, на этом кончилось. Однако нет, не кончилось. В один прекрасный день в институте подходит к нему молодой человек приятной наружности, отзывает в сторону, показывает книжечку красненькую: «Придется вам со мной пройти тут неподалеку». Приходят они в Большой дом, так у нас называется НКВД. Начальник усаживает его в кресло, спрашивает, как устроился после ссылки, не обижают ли его. Друг мой отвечает: «Все в порядке, никто не обижает». – «А как ваши товарищи по ссылке?» Друг мой чувствует подвох, но не сориентировался. «Не знаю, я ни с кем не встречаюсь».

Начальник вынимает из стола бумагу и зачитывает фамилии тех, кто приходил к моему другу. «А этих людей вы встречали?» – «Да, были у меня два раза». – «И о чем беседовали?» –

«Ни о чем особенном...» – «Вспоминали Сибирь, ссылку?» – «Вспоминали». – «В романтической дымке вспоминали?» – «Какая романтика в Сибири...» – «А о политике говорили?» – «Я вне политики, занимаюсь физикой и математикой».

Начальник вынимает другой лист: «А вот что говорил такой-то». И слово в слово читает ему рассуждения одного мудозвона. «Говорил он это?» Куда деваться? «Да, говорил». – «Как вы реагировали?» – «Не прислушивался, занимался». – «Помилуйте, в вашем присутствии ведутся антисоветские разговоры, а вы не прислушивались. Нет, вы прислушивались, иначе не подтвердили бы того, что я вам зачитал».

Мой друг молчит, возразить нечего. Ясно, среди приходивших был осведомитель, может, и не один. А начальник напирал: «Молчите? Отвечу за вас. Вы капитулировали для того, чтобы восстановиться в партии и взорвать ее изнутри. Вы возглавили и собирали у себя на квартире подпольную троцкистскую группу. У нас есть все основания арестовать вас и вашу группу и предать суду».

Мой друг отвечает: «Никакой троцкистской деятельностью я не занимался, ни в каких разговорах не участвовал. Но доносить – это противоречит моим нравственным убеждениям. Моя ошибка в том, что я не отказал им от дома сразу, когда они пришли в первый раз».

А начальник прет свое: «Мы арестуем вас и вашу группу. На следствии все признают свою вину, потому что вина была. Статья, по которой вы будете проходить: «создание контрреволюционной организации», предусматривает от пяти лет лагерей до высшей меры наказания. Хотите жить, хотите спасти свою семью – подумайте, как спасти. Говорите, у вас нет разногласий с партией, докажите это». И напрямую предложил моему другу сотрудничать. «А откажетесь, пеняйте на себя».

Конечно, мой друг мог такое предложение отвергнуть. Но это означало, что его тут же отправят в камеру и перед ним будут маячить или лагерь, или вышка. А лагеря или вышки мой друг не хотел. Не потому, что боялся, он был смелый человек, а за что он должен погибать? За то, что какие-то идиоты при нем трепались? За них он погибать не хотел и не хотел, чтобы погибли его жена и сын. За идею? Идею его вожди предали, каялись на всех углах. И он подписал обязательство. Но стукачом быть не собирался, надеялся, понимаешь, выйти из этого положения...

За соседним столиком кончили ужинать, один из компании остался рассчитываться, трое вышли, остановились в проходе. Глеб умолк. Народу в ресторане было средне – будний день. Певица закатывала глаза, прижимала руки к груди. «Только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбою рвется нить...» Плохо пела, но Саша любил цыганские романсы.

Люди, стоявшие возле их столика, прошли в раздевалку. Глеб продолжил:

– И поехал в Москву на самые верха, к товарищу Сольцу. Слышал такую фамилию?

– А как же, даже знаком с ним. Хороший человек.

– Да? Хороший? Тебе, дорогуша, видней. Его ведь называли «совестью партии». Вот к этой «совести» он и поехал. Сольц, представь, его принял. И говорит ему мой друг: хотят меня завербовать, и как, мол, совместимо с партийной этикой и моралью, чтобы один коммунист тайно доносил на других коммунистов? А Сольц ему отвечает: «Не ко всем коммунистам органы приходят, ко мне, например, не приходили. А к вам пришли, значит, это ваше личное дело, вы и решайте».

– Сольц ему так ответил?

– Так мне рассказывал мой друг. А он всегда говорил только правду.

Неужели Сольц отнесся так казенно? Жаль. В его памяти Сольц сохранился совсем другим.

– Ну и что было дальше?

– После Москвы, после Сольца мой друг пришел ко мне и рассказал все, что ты сейчас слышал. Просидели мы с ним всю ночь, много и чего другого говорил. Зиновьева, Каменева,

Радека презирал, Бухарина, Рыкова тоже – своими славословиями помогли Сталину, проложили себе дорогу на плаху. Про Троцкого сказал – крупная фигура, не чета этим. И линия его правильная – в одной стране социализма построить нельзя, надо дать свободу фракциям и группировкам, а это – путь к свободе взглядов, свободе мнений, а значит, и демократии.

– Не думаю, что Троцкий был уж таким демократом.

– Дорогуша, передаю тебе, что слышал от своего друга. Демократия, конечно, не буржуазная, а вроде как социалистическая, пролетарская, я в этом не разбираюсь. В общем, Троцкого он одобрял – гениальный человек, но, мол, разглядывал себя в зеркале истории, не хотел стать новым Бонапартом, вот и проиграл игру. Имел в руках преданную армию, мог еще в двадцать третьем году арестовать и расстрелять эту троицу: Сталина, Зиновьева и Каменева.

– Расстрелять?! Какая же это демократия?

– Дорогуша! Так ведь в нашей стране все на расстреле держится: и диктатура, и демократия.

– А ты, оказывается, философ.

– Какой есть. В общем, много чего говорил мой друг: все, мол, пропало, Октябрьская революция погибла, страна идет к фашизму. И его личная жизнь кончена. Держался спокойно, будто лекцию читал, честное слово! Видно, принял решение, встал и сказал: «Со мной всякое может случиться, и я хочу, чтобы хоть один человек на свете знал мою подлинную историю. Этот человек – ты. И надеюсь, ты нашего разговора до поры до времени никому не передашь. Учись молчать!» Понял, дорогуша? «Учись молчать» – золотые слова.

Глеб обвел мрачным взглядом стол, откинулся на спинку стула.

– Дорогуша, что же мы с тобой сидим, как дурачки на именинах? Глотнем еще по сто, смотри, сколько колбасы осталось, не пропадать же закуске.

Он выпил, доел колбасу.

– Два дня я его не видел, а на третью ночь звонят в нашу квартиру. Что случилось? Стоят мильтон, участковый и дворник. «Одевайтесь, идемте, будете понятым». И приводят меня в соседнюю квартиру, в его комнату, а там обыск. Моего друга нет, только жена вполношенная и ребенок в кроватке. Обыск шел до утра, ничего не нашли, вписали в протокол какие-то старые книги для проформы, иначе зачем целую ночь рылись? Ушли они, а я остался, спрашиваю у жены, где он сам-то? Думал – в тюрьме. А жена отвечает: «В морге он теперь». В общем, дорогуша, покончил он с собой, отравился в институте, дождался, когда все уйдут, и принял яд. Поговорил с товарищем Сольцем, «совестью партии», после этой «совести» яд принял. Вот какая у этой партии совесть! Утром люди пришли, а он лежит в аудитории. Похоронили мы его на Волковом кладбище, рядом с родителями. И скажу тебе, дорогуша, правильно он поступил: доживи он до нынешних времен, его бы уже двадцать раз расстреляли и семью бы угробили. А так человек покончил с собой, не он первый, не он последний. И семья в порядке, сын уже в школу пошел. А историю его, страдания его знаю я один, один-единственный. Великий был человек, дорогуша! А погиб! За то, что каким-то мудакам захотелось потрепаться. Так вот, скажи мне, дорогуша, как я должен после этого относиться к таким трепачам, как Каневский? Какое он имеет право при мне, при тебе, при Лене произносить слова, за которые дают срок, а то и вышку? Чтобы свою образованность показать? Так я положил с прибором на его образованность. То, что он знает, я давно забыл. Как я могу доверять какому-то Каневскому, когда мой друг дал подписку? И эта подписка лежит в архивах, и через сто лет ее прочитают и скажут: вот и этот был стукачом. А он был честнейший, порядочнейший человек, в жизни ни одного лживого слова не произнес.

Глеб наклонился к Саше:

– Я, дорогуша, тебе эту историю рассказал, чтобы ты не считал меня сволочью. Я тактично удалил Каневского, чтобы не было среди нас звонарей, из-за которых мы можем погибнуть. Кстати, это не я, а ты должен был сделать.

– Почему я?

– Потому что биография у тебя такая. Пока ты баранку в Калинин крутил, отдел кадров ихний, эта тощая проблядь Кирпичева на тебя целое дело завела, хоть ты и простой шофер. Скажи спасибо нашей родной рабоче-крестьянской милиции – выселили тебя из Калинина... И когда Каневский свою хреновину понес, я сразу подумал: а почему Сашка молчит? Ну, представь, дорогуша, потянули бы нас за эти его словеса туда... А? Мы с Леней – семечки, баянисты, а ты? Судимый, и вот при одном контрике другой контрик развивает теории Троцкого. Организация! И ты в ней главный. Лагерь тебе как минимум обеспечен. А ты его жалеешь, сопли распустил. Ах, на улицу выбросили, ах, без куска хлеба оставили. Вот так и мой друг всех жалел... Знаешь, что я тебе скажу: когда ты тогда, в Калинин, с Людкой к кузнецу пришел, я как на тебя посмотрел, сразу догадался: из заключения парень.

– Догадливый ты.

– У тебя на лице это было написано, и на свитере, и на сапогах – во всем сочетании, так сказать. Я ведь, дорогуша, художник, у меня глаз – ватерпас, я сразу тебя разгадал: зек ты, но не простой, а интеллигент, к жизни этой волчьей не приспособленный, как и мой покойный друг. Больше скажу, ты как вошел, меня словно ножом по сердцу резануло, до того ты на него похож. Он русоволосый, у тебя волосы черные, и покрупнее он тебя, а все равно похожи вы, выражение лица одинаковое, одной вы породы, справедливость ищите, деликатные чересчур. И все равно тогда, в Калинин, я тебя сразу полюбил, вот, думаю, в моей скотской жизни опять появился настоящий человек, хотя и понимал нутром: тот мой друг пропал за свою деликатность и ты за это пропадешь.

– Боюсь, ты пропадешь раньше меня, – сказал Саша.

– Да? Почему так?

– Месяца три назад что ты мне сказал о Каневском?

– Вроде бы о пушкинском юбилее шла речь, не помню.

– Напомню. Ты сказал: мы из-за Каневского в тюрьму сядем... Я обязан быть на стреме, думать, кто рядом со мной. Говорил ты это?

– Вроде бы говорил...

– Зачем же ты позвал Каневского в ресторан? Зачем посадил рядом с собой? Зачем водкой поил? Он ведь не хотел идти с нами.

– Ну, в одном коллективе работаем, вместе получку получили, пойдем выпивать, а его не позовем, неудобно.

– Ах, неудобно? Тащишь за собой в ресторан человека, про которого знаешь, что он может нас в тюрьму посадить. Кто же ты после этого? И не он, а ты первый заговорил о социализме и прочей чепухе. Ты вызвал его на этот разговор, и он ответил, что думает. Ты его спровоцировал. Зачем?

Глеб поднял на него глаза:

– Ты это серьезно?

– Да, вполне серьезно. Спровоцировал, а потом побежал к Семену: «Увольте Каневского, болтает лишнее».

Глеб пожал плечами:

– Ну, если ты меня считаешь провокатором...

Саша допил свою рюмку, понюхал корку хлеба.

– Если бы я считал тебя провокатором, я бы с тобой ни минуты не сидел за этим столом. Я тебе скажу, почему ты притащил Каневского в ресторан. Тебя раздражает его «высокомерие», ах, ты воображаешь себя гением, особняком держишься, брезгуешь нами, гнуша-

ешься, нет, «дорогуша», ты такой же, как и мы, – по клубам бегаешь, фокстроты наярываешь, вот и держись за нас. Обмываем получку, и ты обмывай, пьем водку, и ты пей, ерничаем про социализм, и ты ерничай. Не владеешь собой, поэтому и говорю: пропадешь раньше, чем я.

– Слава Богу, я уж думал, ты меня стукачом объявишь.

– История твоего друга трагическая и печальная, – продолжал Саша. – Но он был обречен. Я видел троцкистов в ссылке – крепкие люди. Поэтому их и уничтожили под корень, нынче слабые нужны, из них можно лепить что угодно. А чтобы из нас не лепили что угодно, нужна сдержанность, нужна осторожность. Думаешь, мне приятно фокстроты отплясывать? Для меня это дело? Но я залег на дно, в водорослях лежу, не слишком привлекательная позиция для мужчины, но я хочу в этих подлых условиях остаться порядочным человеком, может быть, придет время, вынырну. А ты пузыришься, по этим пузырям тебя и обнаружат. Завтра Семен явится туда: «Мой сотрудник Дубинин доложил мне, что пианист Каневский болтает лишнее». Приглашают тебя: «Благодарим вас, Глеб Васильевич, вы действуете как настоящий советский человек, так и продолжайте, сообщайте нам о всяких антисоветских разговорах». Вот ты и на крючке. Захотел покуражиться над человеком. И докуражился.

В зале притушили свет.

– Сигналят на выход. – Саша подозвал официанта, расплатился.

– Я жалею о том, что произошло, – сказал Глеб, – ты можешь поступать, как пожелаешь. Но я твой человек, Сашка!

– Я это знаю. – Саша встал. – Ладно, двинулись.

12

Варя встретила Лену Будягину случайно. Смотрели с Игорем Владимировичем «Депутата Балтики» в «Ударнике», вышли из кино, на улице полно народу, тепло, оживленно, широкие окна гастронома освещены, толпа зрителей из кино течет в сторону Полянки – на Каменном мосту ухает молот, двигаются огоньки, мост расширяют, строительные работы идут круглые сутки. Игорь Владимирович предложил пройти по набережной. Они повернули налево, и здесь сразу у одного из подъездов громадного дома Варя увидела Лену Будягину.

Лена открывала дверь подъезда, почему-то обернулась, и по тому, каким напряженным стало ее лицо, Варя поняла, что Лена ее узнала. Это было, наверно, нетрудно, косынку Варя сняла еще в кино: прямые черные волосы, как и раньше, спускались на воротник и такая же, как и прежде, челка на лбу, но и Варя сразу узнала Лену, хотя в старом мешковатом пальто и стоптанных туфлях узнать ее было непросто, да и времени прошло... Сколько же прошло? Вместе встречали Новый год еще перед Сашиным арестом, значит, больше четырех лет назад. Лена была тогда с Юркой Шароком, Шарок открыто, при всех, ухаживал за Викой Марасевич, Нинка учинила скандал, и все же Лена послушно ушла с Шароком, и Саша кинул ей вдогонку: «Большого дерьма себе не нашла?!»

Лена стояла у открытой двери подъезда, не зная, войти или сделать шаг в сторону Вари. Такую нерешительность Варя видела сейчас на многих лицах, эти люди не уверены, поздороваются ли с ними их вчерашние друзья.

Варя улыбнулась, протянула руку:

– Здравствуйте, Лена!

На лице Лены появилась мягкая застенчивая улыбка, она смотрела чуть исподлобья, и, увидев ее улыбку и этот взгляд, Варя вспомнила, что последний раз видела Лену не на встрече Нового года, а в Клубе работников искусств в Старопименовском переулке, Варя была там с Костей, а Лена с Шароком и Вадимом Марасевичем, мягко и застенчиво улыбнулась Варя и смотрела так же исподлобья, оттого, наверно, что высокий рост заставлял ее чуть наклонять голову. Тогда это была красавица, все пялили на нее глаза.

– Здравствуйте, Варя. – Лена шагнула навстречу Варя, пожала ей руку. – Я рада вас видеть. Как вы живете, как Нина?

– У меня все в порядке, работаю, кстати, познакомьтесь, вот мое начальство... Игорь Владимирович, Лена...

«Будягина» Варя не добавила не потому, что боялась произнести эту фамилию, а потому, что не знала, носит ли ее теперь Лена.

– А Нина теперь далеко, – продолжала Варя, – вышла замуж почти год назад.

– А я думала: где Нина? Не дает знать о себе, не появляется.

– Вы здесь живете? – перебила ее Варя, отводя вопросы о Нине. Никто не должен знать, что Нина у Макса.

– Да, здесь, с сыном и братом...

О матери ни слова, значит, не только отца, но и мать посадили.

Потом протянула руку.

– Я вас задерживаю. Будете писать Нине, передайте привет.

– Можно, я как-нибудь зайду к вам?

Лена с удивлением, исподлобья посмотрела на нее:

– Пожалуйста...

– Дайте мне ваш телефон. Я позвоню, потом заеду.

Лена качнула головой:

– У нас давно нет телефона.
– Вы в этом подъезде живете?
– Да, первый этаж, квартира справа, три звонка. С утра и до четырех я в принципе дома.
– Вы не работаете?
– Пока нет, точнее сказать, уже нет.
– Нине я напишу, что видела вас, а к вам забегу в ближайшее же время. Вы не против?
– Я сейчас в таком положении, что, может быть, вам не стоит приезжать ко мне.
– Мне известно ваше положение. Что с того?! – Варя потрянула волосами. – Мы давние знакомые, учились в одной школе, я не имею права к вам зайти?

– Ну что ж, придете, буду рада.
Варя и Игорь Владимирович пошли по набережной.
Варя покосилась на него:
– Держитесь, Игорь Владимирович!
– Держусь!
– Сейчас узнаете, с кем вы только что познакомились.
– Я уже догадался. Семья арестованного.
– Но какого арестованного! Бу-дя-гина. Ивана Григорьевича. Знакома вам такая фамилия?
– Да. Бывший заместитель Орджоникидзе. До этого посол.
– Арестован в прошлом году. Расстрелян. Лена сказала: «Живу с сыном и братом». Значит, и мать расстреляли, она тоже старая большевичка.
– У меня создалось впечатление, – осторожно сказал Игорь Владимирович, – что она не особенно вас приглашала.

– Безусловно. В ее понимании приходить к ней не следует.
Игорю Владимировичу естественно было бы спросить: «А в вашем понимании?» Но в самом вопросе содержался бы совет: «Вам незачем к ней ходить». И он предпочел промолчать.

На собрания, осуждавшие «шпионов, диверсантов и убийц», Варя не являлась. Отправлялась в институт, училась на вечернем отделении; если собирали сотрудников днем, во время работы, уходила в Моссовет, в Мосстрой, Игорь Владимирович подтверждал, что да, он действительно послал ее туда. Каким образом узнавала она о предстоящем митинге или собрании, оставалось для него загадкой. Однажды митинг застал ее врасплох, и она при всех, направляясь к двери, сказала: «Я побежала в АПУ, Игорь Владимирович!» И он ответил: «Да-да, поспешите, Иванова, они вас ждут». Так что со стороны все выглядело достоверным. Варя отметила его помощь, остановилась в дверях, взглянула на него, кивнула головой.

А он вернулся в свой кабинет, подошел к окну, хотел посмотреть, как она будет переходить улицу. Что делать, он любил эту девочку, давно любил, с того самого момента, когда познакомился с ней в «Национале». Она пришла туда вместе с Викой, что говорило не совсем в ее пользу, сняла шляпку с широкими полями, и тут он увидел ее глаза и понял, что не имеет никакого значения, с кем она пришла. А имеет значение только одно – как бы им вместе уйти. Но потом он потерял ее из виду, Вика рассказывала, что она вышла замуж за какого-то грека-бильярдиста, брак оказался неудачным, и, когда Левочка привел Варю к ним в мастерскую устраивать чертежницей, Игорь Владимирович посчитал это знаком судьбы.

Два года назад он отправил ей письмо, решил на такой шаг, хотел, чтобы она знала о его любви. На следующий день она зашла к нему в кабинет, в платье без рукавов, остановилась в дверях, он предложил ей сесть, сказал, что у нее красивый загар. «На пляже была, – ответила она, – в Серебряном бору. Но я по поводу вашего письма». И, помолчав, объявила, что любит другого человека, он далеко, вернется через год, и она его ждет. Он нашел в себе силы улыбнуться: «Ну что ж, Варенька, я тоже буду ждать».

Безусловно, ему было интересно знать, что же это за человек, которого она любит. Спросить Варю напрямую он не посчитал для себя возможным. Но из Викиных рассказов, из обрывочных Левочкиных фраз понял, что, скорее всего, это приятель и одноклассник Вариней сестры, отбывает ссылку в Сибири, у его матери Варя снимала комнату со своим мужем-бильярдистом. Однако прошло два года, заканчивался третий, никаких изменений в Вариней жизни не происходит, из чего Игорь Владимирович сделал вывод, что с тем ссыльным что-то не слаживается. Он видел Варину подавленность – не взяла отпуск, сидела в Москве, чего-то ждала. В такой ситуации его шансы возражали, но он боялся загадывать наперед, пусть все будет так, как теперь: они работают вместе, он видит ее ежедневно и уже не может жить без этого, лишь бы все так и оставалось, лишь бы не изменилось к худшему – время нелегкое, а Варя ведет себя неосторожно.

Больше всего его беспокоило, что Варя манкирует праздничными демонстрациями. К девяти утра все сотрудники на месте, принаряжены, собираются в колонны, несут по Красной площади цветы, транспаранты, только Ивановой нет. Однажды он дал ей понять, что так поступать не следует. Зачем дразнить гусей? Такие вещи бросаются в глаза. Она ответила, что ходит на демонстрации с институтом, разве этот довод неубедителен?

– Нет, – сказал он, – вечерние институты на демонстрации не ходят.

До поры до времени все сходило ей с рук, как понимал Игорь Владимирович, по той простой причине, что никто, кроме него, ее здесь всерьез не принимал – смазливая чертежница, не более того. А те, кто обязан наблюдать, не допускали мысли, что в наше время возможно какое-либо несогласие. Люди с мировым именем вытягиваются в струнку, а не то что какая-то там девчонка. Ну, ушла пару раз с собрания, непорядок, конечно, но учится человек вечерами в институте, есть официальная справка. Тем более ничего такого Иванова себе не позволяла. Ни одного лишнего слова Варя на работе не произнесла. При нем могла смеяться, возмущаться, язвить, но только в том случае, если они были один на один.

– Что молчите, Игорь Владимирович?

– Да так, ничего, задумался о чем-то.

– Я знаю, о чем вы задумались. Вам не понравилось, что я сказала: «Держитесь, Игорь Владимирович». Вам показалось, что я хотела вас подколоть, сейчас ведь все всего боятся, но я делаю это исключительно для равновесия. Левочка и Рина молятся на вас: «Ах, наш Игорь Владимирович – красавец, ах, наш Игорь Владимирович – гений, он – главный советник Сталина по преобразованию Москвы...» Если и я запою в этом хоре, вы превратитесь в икону.

– Вы всегда находчивы в своих ответах.

– Что вы имеете в виду?

А имел он в виду недавний случай в столовой, свидетелем которого стал случайно. Обедали сотрудники обычно компаниями, трепались, стоя в очереди к кассе, сидя за столиками, обсуждали наряды, покупки, браки, разводы, но в первую очередь, конечно же, последние газетные новости, процессы, суды. Все возмущались преступлениями обвиняемых, только Варя молча сидела над своей тарелкой.

– Иванова, о чем думаешь, не согласна, что ли?

Пренеприятный тип задал этот вопрос, некий Костоломов, новый чертежник, которого направил к нему в мастерскую отдел кадров. Игорь Владимирович не хотел его брать: опыта работы никакого, чертежников у него хватает, но в кадрах настояли. Игорь Владимирович даже советовался по этому поводу с друзьями, как поступить. «Не трепи себе нервы, – сказали ему, – если кадры сами посылают к тебе человека, значит, у тебя в мастерской не хватает секретных сотрудников». Варя подняла на Костоломова глаза:

– Я и не слышала, о чем вы говорите. Вечером контрольная по математике, задачки в уме решаю.

Естественно, она тоже помнила тот случай.

– Вы даже побледнели, Игорь Владимирович, когда увидели, что я открыла рот, чтобы ответить этому подонку. – Она улыбнулась. – Зря вы так волнуетесь, я же взрослый человек.

– Вы человек взрослый, но не всегда осмотрительный.

– А как вы думаете, откуда такая фамилия? Не Малюте ли Скуратову прислуживали его предки? Небось были мастера кости ломать.

– Возможно, и так. Но его предки могли быть знахарями, костоправами, отсюда и Костоломов.

Они шли по Крымскому мосту к Зубовской площади. В темноте мрачно выглядели стальные фермы моста.

– В свое время, – сказал Игорь Владимирович, – я предложил протянуть поверху гирлянду лампочек, это оживило бы и мост, и Москву-реку. Отказали – не хватает электроэнергии. А я носился с этой идеей, как раз побывал тогда в Нью-Йорке, там мосты ночью сверкают огнями, поэтому кажутся легкими, воздушными. Завораживающая картина. Смотрел, завидовал.

– Мы этого никогда не увидим, – вздохнула Варя. – А как бы хотелось в Индию поехать, в Африку. Но это все равно что мечтать о полете на Марс. Мы ведь крепостные, нас барин дальше своей деревни не пускает.

Он всегда удивлялся: откуда в этой девочке, выросшей в советской семье, воспитанной в советской школе, такая непримиримость? Все плохо, все безобразно, все несправедливо. Максимализм молодости? Кончит институт, он поможет найти ей интересную работу, где она сумеет реализоваться, она очень способна, даже талантлива и поймет, что это и есть главное в жизни.

– Ваша знакомая кто по профессии? – спросил Игорь Владимирович, когда они подошли к Вариному дому на Арбате.

– Не знаю. Почему вы спрашиваете?

– Она нигде не работает, видимо, не может устроиться.

– Видели бы вы ее два года назад. Я думаю, красивее женщины в Москве не было. И как одевалась, долго жила за границей. А теперь ходит в стоптанных туфлях, в пальто с чужого плеча. Все, наверно, распродала. Надо кормить ребенка, брата.

– Узнайте, что она умеет делать. Я постараюсь помочь.

Варя посмотрела на него. И он впервые увидел в ее взгляде что-то еще кроме обычного дружеского интереса.

13

Получив распоряжение выехать в Москву, Шарок задумался.

Вечером 17 февраля у Ежова был банкет по случаю отъезда Слуцкого в Узбекистан. Той же ночью Слуцкий умер. И хотя в «Правде» появился короткий, но теплый некролог, он не обманул Шарока. Москва – не Париж, там не нужен препарат десятидневного действия, можно и однодневного. И Шпигельглас исчез, вместо него новый человек – Павел Анатольевич Судоплатов.

Слуцкий был обречен. Но по тому, что посадили и Шпигельгласа, Шарок понимал: дело в убийстве Льва Седова. С его смертью Зборовский потерял и доступ к переписке Троцкого, и возможность внедриться в его ближайшее окружение. И Серебрянского посадили, и всех его ребят, «Алексея» в том числе. Вот тебе и боксер, хорошо говорящий по-французски.

Отдал приказ Шпигельглас, препарат передал «Алексей», а там уж действовал Зборовский. Он, Шарок, никакого касательства к этому не имел, думал – неудачная операция. Но Шарок знал свое учреждение. Никакие доводы и доказательства там не действуют. Надо «очистить отдел от людей Шпигельгласа» – очистят за милую душу, расстреляют, и дело с концом.

Что же делать, как поступить? Не ехать, смыться? Куда? Просить убежища, стать «невозвращенцем»? Найдут. Как нашли и убили Игнатия Райсса. С другой стороны, его никак нельзя назвать человеком Шпигельгласа. К Шпигельгласу его направил сам Ежов. Может быть, чтобы заменить при надобности. Возможно, для этого и вызывает. Ведь сказал тогда: «Присмотритесь».

Однако Ежов назначен по совместительству и народным комиссаром водного транспорта. Назначение более чем странное. Водный транспорт! Речные пароходства – кому это надо?! И Ягodu не сразу расстреляли, а тоже назначили наркомом связи, а уж потом посадили. Но Ягodu тогда сразу сняли с НКВД, а Ежова не сняли, и он, Шарок, человек Ежова, притом русский человек, не какой-нибудь поляк или еврей, как все эти Слуцкие и Шпигельгласы. Надо ехать, будь, что будет!

Как Шарок и предполагал, с ним разговаривали по поводу Седова, не допрашивали, а так, беседовали. Попросили написать объяснительную записку. Шарок написал, что как было. А как было? Седов заболел, Шпигельглас прислал «Алексея», приказал свести его со Зборовским, но самому на встрече не присутствовать. Свел. Не присутствовал. А через десять дней Седов умер. Вот и все. Шарок долго думал и приписал осторожно: «Смерть Седова во многом обесценила значение «Тюльпана» как источника исключительно важной информации и лишила его возможности внедриться в окружение Л. Д. Троцкого».

Объяснительную записку он сдал, и опять потянулись дни ожидания. Болтался в отделе. Познакомился с Павлом Анатольевичем Судоплатовым, рассказывал ему о Третьякове и Зборовском. Судоплатов, конечно, все о них знал, но внимательно слушал, прихлебывая из стакана горячий чай. Грипповал, знобило, глаза слезились, нос покраснел, не лучшим образом выглядел, тем не менее произвел на Шарока сильное впечатление – холодный, безжалостный, настоящий разведчик. Велел пока знакомиться с текущими донесениями Зборовского о подготовке в Париже учредительного конгресса троцкистского IV Интернационала.

20 июля заместителем Ежова и начальником Главного управления государственной безопасности назначили Лаврентия Павловича Берию. Всем стало ясно: дни Ежова в наркомате сочтены, Берия, близкий Сталину человек, пришел заменить Ежова. Тревога еще больше овладела Шароком – вся надежда была на Ежова. А теперь? Не за кого зацепиться, не у кого просить помощи, ни одного знакомого лица, всех пересажали: Молчанова, Вут-

ковского, Штейна, Дьякова. Даже опасно упоминать, что работал с ними, с осужденными врагами народа.

Единственным старым знакомым оставался Абакумов Виктор Семенович. Ходил теперь в больших чинах – начальник Ростовского областного управления НКВД, одного из крупнейших в наркомате. А ведь у них в отделе подшивал бумаги. С приходом Ежова пошел в гору. Поставил у себя в кабинете шкафы с конфискованными книгами, а ведь за всю жизнь, наверное, ни одной не прочитал. Темный, необразованный, матерщинник, бабник, фокстротчик, такой медведь, а почитает себя великим танцором. А не заступись тогда за него Шарок, свистел бы сейчас на морозе где-нибудь на севере в должности лагерного оперуполномоченного. И напомнить нельзя – обидится: выходит, я обязан не своим способностям, не беззаветной преданности делу Ленина – Сталина, а тебе, говнюку?! Только врага приобретет. Люди не любят, когда им напоминают о благодеяниях. Возможно, Абакумов вообще не желает вспоминать то время. Ведь именно он допрашивал своих бывших начальников и сослуживцев по СПО. Лучше быть от него подальше. Абакумов часто наезжал в Москву, но Шарок не делал попыток с ним встретиться. Встретились случайно, в коридоре. Абакумов шел шумно, такая есть особенность у больших начальников. Не кричит, не стучит, сапогами не топает, а видно, что идет начальник, никому дороги не уступает, прет, как танк, посередине коридора, кивает головой и знакомым, и незнакомым, и часовым кивает мимоходом, те у него пропуск не спрашивают, знают в лицо.

И Шароку он кивнул, как и всем, походя, мимоходом, но тут же остановился.

– Юра, ты ли это?

– Я, Виктор Семенович.

– Рад видеть. Ты вроде бы там?.. – Абакумов кивнул головой в сторону, как бы показывая за кордон, за границу.

– Вроде бы там.

– Остаешься или обратно?

– Не могу точно сказать, Виктор Семенович, наша работа такая: нынче здесь, завтра там... – Шарок тоже кивнул головой в сторону, как бы показывая за кордон.

Абакумов зычно рассмеялся.

– Как мы в комсомоле-то пели: «По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там»... – Неожиданно спросил: – Женился?

– Нет еще.

– На перекладных?

– Приходится.

– Слушай, у тебя отдельная квартира, помню, новоселье справляли.

– Да, квартира все та же.

– Знаешь разницу между комедией, драмой и трагедией?

– Ну, – начал Шарок, – комедия – это...

– погоди, – перебил его Абакумов, – я тебе сам объясню: когда есть «чем», есть «кого», но нет «где» – это комедия; когда есть «чем», есть «где», но нет «кого» – это драма; а вот когда есть «где», есть «кого», но нету «чем» – вот тогда трагедия.

И опять зычно расхохотался.

– Понял меня? Кобылки-то есть?

– Где их нет.

– Давай завтра вечером, в девять. Собери кворум, кураж подвезу. Только адрес оставь, подзабыл малость.

Шарок записал свой адрес, от «куража» отказался:

– Ничего не надо, Виктор Семенович, дома все есть.

Предстоящее мероприятие внушило Шароку некоторые надежды. Если Абакумов хочет провести у него на квартире ночь с бабами, значит, Шарок в порядке. Абакумов знает, с кем можно попойнствовать, а с кем нельзя. Знает, что Ежову конец, а ведет себя уверенно, значит, есть поддержка и с другой стороны.

Шарок позвонил Кале, велел прийти завтра с подругой, предупредил:

– Только не ломаку, понимаешь?! Для большого человека! От него многое для меня зависит.

Каля все пообещала сделать. Решила, наверное, что этот человек поможет Шароку остаться в Москве, и тогда Юра на ней женится. Дура, конечно, но баба ничего, своя, верная баба.

На следующий день Шарок чувствовал себя веселее. Составил сводку донесений Зборовского о предстоящем конгрессе троцкистского IV Интернационала. Официально объявлено, что конгресс состоится в Лозанне, на самом же деле он откроется в пригороде Парижа, на вилле друзей Троцкого супругов Росмеров. Ожидается человек 30–40 из 15–16 стран, список этих стран и предполагаемых делегатов Зборовский прислал. Задача конгресса – утвердить «Мировую партию социальной революции». Сводку в конце рабочего дня Шарок доложил Судоплатову. Тот приказал запросить у Зборовского список всех технических сотрудников конгресса.

– Павел Анатольевич, – сказал Шарок, – сегодня вечером у меня некоторые личные дела. Разрешите уйти часов в семь.

– Пожалуйста, когда хотите, вечером вы не понадобится.

Шарок вернулся в свой кабинет, запер ящики стола, погасил настольную лампу, и тут раздался звонок по внутреннему телефону: Шароку приказывалось немедленно явиться к народному комиссару товарищу Ежову.

Опять, как два года назад, по длинным коридорам Шарок шел в левое крыло наркомата, поднимался вверх, спускался вниз, снова поднимался, на каждой лестничной площадке предъявлял часовым удостоверение, опять обдумывал, зачем Ежов вызывает его. Абакумов что-нибудь сказал? Сомнительно. Шарок его ни о чем не просил. Париж? Все доложено Судоплатову. И еще: иностранный отдел подчиняется теперь Берии. Значит, Ежов его обходит? А потом Берия на нем, на Шароке, отыграется. В общем, ничего хорошего этот вызов не сулит.

Вместе с секретарем Шарок пересек знакомый кабинет. Тот же громадный стол, застекленные шкафы вдоль стен, портьеры на окнах, та же дорогая мебель и портрет товарища Сталина над креслом. Секретарь постучал в дверь в задней стене, раздался хриплый голос: «Входи!» Секретарь открыл дверь, пропустил Шарока и удалился.

В небольшой комнате на диване сидел Ежов, рукава рубашки засучены, волосы растрепаны, на столе батарея бутылок, на тарелках закуска. Окинул Шарока мутным взглядом. Зазвонил телефон. Ежов поднял трубку, послушал, грубо ответил:

– Я русским языком все объяснил. Не поняли? Ну и идите к...

Матерно выругался и бросил трубку. Был не только пьян, но возбужден и встревожен. Снова мутными глазами с подозрением посмотрел на Шарока:

– Отчитались?

– Так точно, товарищ народный комиссар, отчитался, – отрапортовал Шарок, вытягиваясь.

Ежов не предложил ему сесть.

– Не надоело жить вдали от Родины?

– Служба, товарищ народный комиссар.

– Служба... Службу можно поменять.

– Как прикажете, товарищ народный комиссар.

– А вот прикажу перейти на службу в Народный комиссариат водного транспорта. Как ты на это посмотришь?

– Приказ есть приказ, товарищ народный комиссар.

– Что ты все талдычишь: приказ, приказ... Спрашиваю: хочешь перейти ко мне в Наркомат водного транспорта?

Мысль Шарока лихорадочно работала. В органах стало опасно, хорошо бы уйти на гражданскую службу, но связывать свою судьбу с Ежовым еще опаснее.

– Что молчишь?

– Не знаю, какая работа, товарищ народный комиссар.

– Работы хватает, работников нет, одни вредители и болтуны, понял?

– Понятно. Но я по образованию юрист, поэтому меня сюда и взяли. А речной транспорт... Я даже не знаю, что это такое.

Ежов опять глотнул из рюмки, пошарил глазами по столу, но ничем не закусил. Не глядя на Шарока, сказал:

– Устроим по специальности. Есть и юридический отдел, и отдел кадров, и спецотдел.

– Разрешите подумать, товарищ народный комиссар.

Ежов поднял на него мутные глаза, недобро посмотрел, у Шарока от страха сжалось сердце.

– Не хочешь! – зловеще заключил Ежов.

– Подумать хочу, товарищ...

– Все ясно! – оборвал его Ежов. – Иди!

14

В магазине НКВД на Большой Лубянке Шарок купил водки, вина, закусок, набил полный портфель. Квартира его была на Остоженке, в Зачатьевском переулке. В двадцатых годах какой-то нэпман выкроил ее из бывших барских хором. Нэпман давно откинул копыта в Нарыме или на Соловках, вместо него поселился профессор, и этот дал дуба на Колыме или в Воркуте, квартиру получил Шарок. Две комнаты, кухня, ванная, уборная, пара стальных шкафов, антресоли – словом, все, что положено, и Шароку удобно – неподалеку Арбат, где отец с матерью, и органам хорошо, когда сотрудник за границей, его квартира используется как явочная для встреч с осведомителями; ключи в отделе. Вторые ключи у отца с матерью – приходят по воскресеньям, в этот день явок нет – так уговорено. Каля заикнулась было: «Хочешь, буду за квартирой присматривать?» Он усмехнулся: «Миленькая, в моем учреждении разве некому присматривать? Ты без меня сюда и близко не подходи». Только того и добила Каля, что в ванной всегда висел ее халат.

Но когда он приезжал в Москву, она с усердием исполняла роль хозяйки, прибирала, мыла, чистила, показывала домовитость, уже три года как встречаются, мол, пора что-то решать. И сейчас накрывала на стол, ладная, веселая, с большими и сильными руками. Привела с собой подругу, высокую, черноволосую, цыганского вида девушку с длинными стройными ногами и позолоченными серьгами в ушах. Представила ее:

– Моя подруга Аза.

Дымя папиросой, подруга добавила:

– Цыганка Аза.

И так же представилась Абакумову:

– Цыганка Аза.

– Так уж? – засомневался Абакумов.

– Разве не похожа?

Аза по-цыгански затрясла плечами.

– Это и мы умеем...

К удивлению Шарока, Абакумов тоже затряс толстыми плечами, не как Аза, конечно, но вроде бы по-цыгански.

– Из нашего табора, – одобрила Аза.

– И спать нам в одном шатре, – заключил Абакумов.

Держался он так, будто знал девушек давно, столько их перебрал, что уже не отличал знакомых от незнакомых. Вошел шумно, шофер внес за ним пакет и ушел, получив распоряжение, когда и куда приехать. А Шароку Абакумов приказал:

– Разворачивай пакет!

– Виктор Семенович, зачем? Видите, все есть на столе.

– Подкрепление не повредит. Как Наполеон говорил? Что нужно для победы? Сосредоточить главные силы на главном направлении. Как, девушки, правильно говорил Наполеон Бонапарт? Знаете такого? Тарле читали?

Вот хамло, подумал Шарок, не может правильно произнести фамилию. Да и не читал он Тарле, узнал, что Сталин велел восстановить того в звании академика, и тут же, конечно, купил его книгу «Наполеон», поставил на полку.

– Знаем Наполеона, читали. – Аза сидела, положив ногу на ногу, дымила папиросой.

– Проверим, – весело сказал Абакумов, – а сейчас, ребятки, давайте перекусим, я голодный как волк.

Каля между тем развернула пакет, выставила на стол армянский коньяк, выложила икру, лососину, буженину и виноград.

– С чего начнем? – спросил Абакумов и потянулся за водкой.

– Что в руках, с того и начнем, – тряхнула серьгами Аза.

– Правильно, – взглянул на нее Абакумов, – пить – так водку, любить – красотку, украсть – миллион.

Пил он рюмку за рюмкой и всех заставлял пить: со знакомством, за женщин – Калю и Азу, за Юру, за родных и близких... И жрал как свинья, даже похрюкивал.

Юра пил осторожно. Предстоит разговор. На карту поставлена жизнь. Стряпают «дело Шпигельгласа», значит, нужны соучастники. А Ежов переводом в другой наркомат выручал его. Знай, спасаю тебя! Ах, не хочешь, тогда и расплачивайся! Сегодня же ночью за ним явятся. И застанут Абакумова в постели с девкой. По законам товарищества надо бы предупредить. Но разве оценит? Тут же смоемся. И из тюрьмы выволакивать не будет. Пусть уж затянется в узел вместе с ним. Если же сегодня не придут, то завтра Абакумов примет меры. Должен выручать. Иначе если Шарока посадят, то и он горит. «С кем встречались?» – «С товарищем Абакумовым. У меня на квартире с женщинами пьянствовали». Потом отбредивайся!

Абакумов между тем снял пиджак, в штатском явился, рубашку расстегнул, показывает косматую грудь, уже шарит волосатой ручищей у Азы под юбкой, а та извивается, страсть изображает, тоже набралась порядочно, и у Кали глазки заблестели, смеется, заливается. А у него голова должна быть ясной. Хоть Абакумов и в чинах, кости ломать большого ума не надо, в Париж такого не пошлешь, там нужны Шпигельгласы, Судоплатовы, Шароки, те, на ком держится советская разведка, – профессионалы. Он справлялся с генералом Скоблиным, с министром Третьяковым, справится и с хамом Абакумовым, заставит ввязаться в это дело, вынудит. Только не опьянеть. Шарок незаметно вместо водки наливал нарзан, благо рюмки из толстого зеленого стекла, пузырьков не видно, и Абакумов не следил, как он пьет. Сам пил, ел, шарил у Азы под юбкой и на Калю, надо сказать, поглядывал, тыкал пальцем в грудь: «Вот это буфетик, молодец, девка, все при тебе». Не будь тут Шарока, обеих уложил бы в постель.

Потом потребовал завести патефон, пошел танцевать с Азой. Пьяный, а на ногах держался, толстый, здоровый, даже фигуры выделявал, непонятно, что танцует – танго или «камаринскую», и на ходу раздевал Азу, все на ней расстегнул, под штанишки полез, а она ничего, только зыркает глазами на Калю и на Шарока, качает головой: мол, смотрите, люди добрые, каков охальник!

Пластинка кончилась.

– Где отдохнуть можно? – прохрипел Абакумов.

Шарок показал на дверь спальни.

Абакумов потянул Азу за руку:

– Пошли в шатер, цыганочка!

Аза опять зыркнула глазами на Калю и на Шарока, пожала плечами: мол, смотрите, что он со мной делает! Но вслед за Абакумовым пошла безропотно.

Шарок и Каля легли на диване.

– Утром уйдешь с ней в ванную, – сказал ей Шарок, – там задержитесь, а я переговорю с Виктором Семеновичем.

Ему не пришлось дожидаться утра. Только, казалось, задремал, как его разбудил голос Абакумова. Шарок протянул руку, зажег бра над диваном. Абакумов стоял посередине комнаты, толстый, в одних трусах, над ними висел живот. Аза в комбинации сидела за столом.

– Хватит спать, мужичок, ведь весна на дворе... – Абакумов уселся рядом с Азой, налил нарзану. – Вставайте, братцы, еще погуляем.

Шарок надел под простыней трусы, встал, тоже сел за стол.

– Вставай, Каля! – приказал Абакумов.

– Отвернитесь, Виктор Семенович, я раздета.

– Еще чего! Не видал я голых баб.

Прикрывшись руками, Каля пробежала в ванную, вернулась в халате.

Кивнув Азе, Шарок сказал:

– Идите мойтесь. Я позову.

Женщины ушли, вскоре из ванной донесся плеск воды.

Абакумов налил водки себе, Шароку:

– Поехали.

Выпили.

– Виктор Семенович, я хотел с вами посоветоваться.

О своем разговоре с Ежовым Шарок рассказал, как по стенограмме, и о том, что Ежов остался недоволен, тоже сказал.

Абакумов тыкал вилкой в закуску, жевал то одно, то другое, поглядывал на Юру.

– Доложил Судоплатову?

– Когда? Николай Иванович отпустил меня поздно. Я боялся на встречу с вами опоздать. Вы думаете, Судоплатов может мне помочь?

– Не может, – неожиданно трезво и внушительно ответил Абакумов, – но знать должен. Вызовет его товарищ Берия Лаврентий Павлович, спросит: «Известно вам, что ваших работников переманивают в другой наркомат?» – «Нет, неизвестно», – ответит Судоплатов. «Ах так, значит, товарищ Шарок ведет переговоры за вашей спиной. Двойную игру играет! Как это расценить?!» Понял мою мысль?

– Вы правы, Виктор Семенович.

– Сегодня, как на работу придешь, сразу к Судоплатову. Все, как мне, так и ему расскажешь. Подчеркни: «Согласия не дал. Считаю обязанным вам доложить». И после этого сиди спокойно. Дождись. Все остальное сделаю я.

Он вдруг наклонился вперед, исподлобья посмотрел на Шарока.

– Абакумов верных друзей не забывает. Понял?

– Понял, спасибо, Виктор Семенович.

– Давай за это выпьем. Ты весь вечер вместо водки нарзан хлестал. Я видел. Понимаю: к разговору готовился. Не осуждаю. А теперь уж выпьем.

И, запрокинув голову, опорожнил рюмку.

– С твоим делом покончено, – сказал Абакумов, – будем гулять. Как в песне-то поется: «Будем пить, будем веселиться, жизнь коротка, надо насладиться». Аза – баба ничего, умелая, а Каля как?

Хмель выскочил у Шарока из головы, понял скрытый смысл этого вопроса.

– Я с Калей не первый день, Виктор Семенович, даже думали...

Абакумов перебил его, не дал договорить:

– Вот и нужно тебе свежачка попробовать. Поменяемся!

Деваться некуда, он в руках у этой свиньи. Явится сегодня к Ежову и доложит: «Заезжал вчера к Шароку, как к старому товарищу по работе, а он, сукин сын, сидит пьяный и вас поносит, говорит, переманиваете его уйти из органов, вот сволочь, негодяй!» И тогда уведут его прямо из отдела и расстреляют, разговор короткий!

– Куда мне после вас к Азе? – улыбнулся Шарок.

– Справишься, парень молодой! А где девки-то?

Он встал, приоткрыл дверь ванной...

– Отполоскались?! Как в песне-то поется: «Девоньки купаются, сисеньки болтаются».

– Сейчас оденемся, Виктор Семенович, – сказала Каля.

– А чего одеваться? Все равно раздеваться.

– Нет уж, так нам удобнее.

Каля вышла в халате, Аза – в комбинации.

Абакумов тут же всем налил водки.

– Давайте, девушки, подкрепляйтесь.

Шарок вышел на кухню, позвал Калю, хмуро и озабоченно сказал:

– Я говорил с ним, обещал помочь. От него зависит не только моя судьба, но и жизнь.

Поняла?

– Да-да, конечно, – испуганно проговорила она.

– Аза ему не понравилась, выпендривается. Я тебя предупреждал: не приводи ломаку.

Придется тебе за нее отработать...

Она сначала не поняла, о чем он, потом, когда смысл сказанного дошел до нее, вспыхнула от негодования:

– Ты что, рехнулся?! Да я уйду сию минуту! Ты что говоришь?!

– То, что слышишь. Ради меня, ради моей жизни. – Он изо всей силы сжал ее запястье. – Я тебя прошу. Клянусь, мы никогда об этом не вспомним. Все! И не вздумай кобениться! Предупреждаю! Не пойдешь – мне смерть, но и тебе смерть!

Они вернулись к столу.

– Теперь попляшем, – закричал Абакумов, дожевывая ветчину. – Настраивай, Юрка, музыку. А ну-ка. Каля, давай с тобой попрыгаем.

Облапил ее, прижал к себе, голый, толстый, волосатый, задвигался по комнате, норовя засунуть ее руку к себе в трусы, и, очутившись возле спальни, открыл дверь, подтолкнул туда Калю.

Она оглянулась, умоляюще посмотрела на Шарока.

Он резко, повелительно махнул рукой: иди!

Утром Шарок зашел в Судоплатову, доложил о своем разговоре с Ежовым.

– Решать такой вопрос – ваше личное дело, – сухо заметил Судоплатов.

А вечером Шарока вызвали к Лаврентию Павловичу Берии.

Берию Шарок видел только на портретах. Льстили, конечно, художники, но лицо у Берии и в жизни оказалось неестественно гладким, будто накачали в него воздух и нацепили пенсне.

Кроме Берии в кабинете были еще двое: Судоплатов и какой-то чин, похожий на Серебрянского, но черты лица тонкие, глаза живые, и оттого выглядел он красивым и привлекательным.

Вытянувшись, Шарок доложил о прибытии.

– Садитесь!

Сверля Шарока маленькими глазками, Берия спросил:

– Какова ситуация со Зборовским?

– Со смертью Льва Седова единственно, что он сохранил, это доступ к делам троцкистского Международного секретариата, – четко ответил Шарок.

– Есть возможность внедрить его в окружение Троцкого?

– Очень малая. Зборовского подозревали в убийстве Седова. Подозрение отпало. При Седове неотступно находилась его жена Жанна Мартен, к пище Седова Зборовский не прилагивался. И все же недоверие осталось. Зборовский просил Троцкого разрешить ему приехать в Мексику, Троцкий отказал.

Чин, сидевший рядом с Судоплатовым, изучающе смотрел на Шарока.

– Какие вы видите перспективы? – спросил Берия.

Шарок отлично понимал, что речь идет об уничтожении Троцкого, но он должен говорить только в предложенных рамках: о внедрении человека в окружение Троцкого. И еще

понял Шарок: он опять получает шанс – может стать человеком Берии. Тщательно подбирая слова, Шарок сказал:

– Мне кажется, что планы проникновения к Троцкому были изначально нереальными. Намечалось забросить к нему человека от белых, людей готовили генералы Туркул, Миллер и Драгомиров. В Турции и в Европе они имели какие-то шансы, в Мексике – никаких. Охрана Троцкого состоит из американцев и мексиканцев, среди них и надо подобрать человека. Лучше мексиканца или, во всяком случае, человека испаноязычного.

– Хорошо... – сказал Берия, и какие-то нотки в его голосе подсказали Шароку, что он попал в точку, его рассуждения совпадают с планами этих людей. – Третьего сентября собирается учредительный конгресс IV Интернационала. Вам следует завтра же отправиться в Париж и быть в курсе этой говорильни.

– Слушаюсь, товарищ Берия!

Он назвал его по фамилии. Именовать «заместителем наркома» человека, который не сегодня-завтра будет наркомом, было бы глупо.

– Ваши руководители... – Берия кивнул в сторону Судоплатова. – С Павлом Анатольевичем вы знакомы...

– Так точно, знакомы.

Берия повернулся к соседу Судоплатова, представил его:

– Наум Исаакович Эйтингон.

Эйтингон протянул Шароку руку, улыбнулся:

– Будем работать.

15

После награждения орденом положение Вадима настолько упрочилось, что ему вручили однодневный пропуск в Октябрьский зал Дома союзов на судебный процесс по делу «Антисоветского правотроцкистского блока». Такой чести удостоились лишь видные писатели, способные создать нужное общественное мнение.

Вадим не сомневался в том, что сумеет оправдать доверие. Его реакция не будет простым газетным откликом, какие сотнями печатают ныне его собратья по перу: «Сурово покарать грязную банду убийц и шпионов»... «Уничтожить!», «Добить!» и тому подобные заезженные штампы. Он исследует психологию политического преступления, протянет нить от доклада Бухарина на 1-м съезде писателей в 1934 году до нынешнего процесса. Доклад о поэзии... о поэзии делал шпион и убийца. Где же грань, отделяющая интеллигента от преступника? Плетнев, Левин, Казаков – врачи, призванные исцелять и спасать, стали пособниками, подручными Смерти. Где же грань, отделяющая гуманиста от преступника? На эти вопросы он даст ясный, четкий и достойный ответ: истинная интеллигентность, истинная гуманность возможны только в верном служении партии Ленина – Сталина. Вот в таком духе следует начать, а там уж рука сама пойдет писать.

Как и все в зале, Вадим, затаив дыхание, следил за происходящим на сцене. Господи! Бухарин и Рыков – бывшие руководители партии и государства, Ягода – всемогущий глава НКВД – само его имя внушало ужас, народные комиссары, секретари ЦК партии, вершившие судьбы миллионов людей, теперь, жалкие, раздавленные, сидят на скамье подсудимых, послушно встают, послушно садятся, охотно признаются в самых страшных преступлениях. Вадим не знал и не хотел знать, какой ценой добились от них признаний. Он мог об этом только догадываться, вспоминая парикмахера Сергея Алексеевича с его выбитыми зубами, со страшными кровоподтеками на лице. Но не ощущал к этим людям ни капли жалости. Разве не они создали систему, при которой все обязаны быть «Вацлавами»? И хватит глупых угрызений совести!

Вадим сидел в задних рядах, но Октябрьский зал невелик, все видно. Бухарина и Рыкова он узнал сразу, их все знали по портретам, узнал он и профессора Плетнева Дмитрия Дмитриевича – учитель его отца, часто бывал у них дома, отец называл его великим талантом, даже гением, одним из величайших врачей мира. В прошлом году в июньской «Правде» появилась статья: «Профессор – насильник, садист». Во время осмотра какой-то пациентки профессор Плетнев якобы укусил ее за грудь, и в результате этой травмы и тяжелого душевного потрясения женщина осталась инвалидом. Приводилось и ее письмо, которое газета назвала «потрясающим человеческим документом». На следующий же день началась газетная кампания. Профессора, видные врачи, медицинские коллективы клеймили позором шестидесятипятилетнего «насильника и садиста». Но имени своего отца Вадим в том списке не увидел, не выступил Андрей Андреевич и на экстренных заседаниях Всесоюзного и Московского терапевтических обществ. Положение Вадима было щекотливое: отец не хочет выступать, его молчание может дорого обойтись и Вадиму. Но сказать об этом отцу не решился, боялся вызвать его гнев, боялся ответных упреков, даже разоблачений – ему казалось, что отец догадывается о «Вацлаве», а может быть, и знает. Неужели он по рассеянности оставил какое-то донесение на столе у себя в комнате, а отец это донесение прочитал? Ужасно, если это так. Возможно, потому он и не поздравил его с орденом и вообще перестал интересоваться его делами. Но тогда, в июне тридцать седьмого года, Вадим вполне миролюбиво спросил отца:

- Что это за история с Дмитрием Дмитриевичем?
- Ты ведь читаешь газеты, знаешь, наверное.

– Да, конечно, читаю. И отзывы его коллег читаю. Осуждают его коллеги.

– Не все! – оборвал его отец. – Далеко не все! Егоров, Сокольников, Гуревич, Каннабих, Фромгольц, Мясников отказались поддержать эту гнусность. И твой отец, между прочим, тоже отказался.

– Каждый имеет право на собственное мнение, – примирительно сказал Вадим.

Ничего другого он сказать не мог. Признался тогда Плетнев или нет, никто не знал, получил два года условно и вскоре опять был арестован, но уже по делу, которое сейчас рассматривается в Октябрьском зале и где Плетнев сознается в более тяжких преступлениях, чем попытка изнасиловать какую-то истеричку.

Допрос Плетнева Вадим слушал с особым вниманием. Что там ни говори, а есть нечто особенное в советской власти, сокрушающей самые великие авторитеты и репутации. Грозная, непобедимая сила, горе тому, кто становится на ее пути.

Что теперь скажет отец? Плетнев сам сознался в своих преступлениях! И каких! Теперь Плетневу грозит расстрел. И каждому, кто попытается слово сказать в его защиту, тоже грозит расстрел. Теперь уже отцу не отвертеться! Придется высказать свое отношение. Плетнев – его учитель, его друг. Ничего! Отрекаются от отцов и матерей, от братьев и сестер, от сыновей и дочерей, а уж от коллег по работе, от учителей и от учеников сам Бог велел отрекаться.

В зале не полагалось вести записи. Но мысли надо будет записать сегодня же, под свежим впечатлением от процесса. Это Вадим и сделал, вернувшись домой. Работал с упоением.

Вскоре пришел с работы отец, снял пиджак, надел домашнюю куртку, как всегда, остался при галстуке, глядел хмуро, устало. Вадим понимал, что разговор о Плетневе будет ему неприятен, но удержаться не мог. И не следует откладывать. Отец не посмеет возражать, да ему и нечего возразить. И он добьется от отца увольнения Фени и прекращения всяких контактов с Викой, отец их поддерживает через эту дамочку Нелли Владимирову. К тому же трудно отказать себе в удовольствии рассчитаться с отцом за предыдущий разговор о Плетневе. Теперь-то уж отец не посмеет говорить, как в прошлый раз: галиматья, гнусность, подлость, бред, провокация. Придется ему подыскивать другие слова, другие выражения.

Грызая куриную ножку (Вадим любил поужинать холодным цыпленком, а Феня, уходя вечером, всегда оставляла холодный ужин), Вадим сказал:

– Был я в Доме союзов на процессе, жуткое зрелище, доложу тебе.

Отец молча ел.

– Бухарин, Рыков, Ягода – прожженные политиканы, с ними все понятно. Но врачи – Левин, Казаков и, главное, Плетнев Дмитрий Дмитриевич. Я не верил собственным ушам: он во всем признавался.

Отец, пригнувшись к тарелке, продолжал есть.

– Я смотрел только на него, может быть, думаю, подставное лицо, актер. Нет, он, Дмитрий Дмитриевич, я ведь много раз видел его здесь, у нас, в этой комнате, это он, его речь, его манера держаться.

Отец продолжал молча есть, не поднимая глаз на Вадима.

– Не понимаю, что заставило его?! Убить Куйбышева, Максима Горького...

Андрей Андреевич положил вилку и нож на тарелку, вытер салфеткой губы, откинулся на спинку стула и, глядя мимо Вадима, спокойно сказал:

– Дмитрий Дмитриевич не лечил Куйбышева.

– Но...

– Повторяю. – Андрей Андреевич повысил голос, смотрел по-прежнему мимо Вадима. – Дмитрий Дмитриевич не лечил Куйбышева. Куйбышев скоропостижно скончался от паралича сердца после напряженного рабочего дня. Было вскрытие, причина смерти –

закупорка тромбом правой коронарной артерии сердца. Но что бы там ни было, Дмитрий Дмитриевич не лечил Куйбышева.

Он перевел дыхание...

– Что касается Горького, то он много лет страдал тяжелым легочным заболеванием – хронический гнойный бронхит с бронхоэктазами, пневмосклероз, эмфизема легких и сердечно-легочная недостаточность. Он всегда кашлял и непрерывно курил, хотя врачи требовали, чтобы он прекратил курение. У него даже возникали легочные кровотечения. На Капри, в Крыму ему становилось лучше, но каждое возвращение в Москву вызывало пневмонию. То же самое произошло в июне 36-го года. Его лечили Кончаловский, Ланг и Левин. В их присутствии Дмитрий Дмитриевич несколько раз его консультировал. Лечение было абсолютно правильным, но спасти Горького было невозможно. Медицинское заключение о его смерти подписали нарком здравоохранения, все лечащие врачи, кроме них еще профессор Сперанский и профессор Давыдовский, производивший вскрытие. Ни одного из этих врачей не вызвали в суд хотя бы в качестве свидетеля. Ни одного! Не нужны были! Все свалили на Плетнева и на несчастного Левина. «Шайка безжалостных злодеев!» – Андрей Андреевич ударил вдруг кулаком по столу. – Не они безжалостные злодеи, а те, кто их судит, вот они-то и есть «безжалостные злодеи»!

– Отец! – воскликнул Вадим. – Опомнись! Что ты говоришь?! Суду было предъявлено заключение медицинской экспертизы.

– Экспертизы?! – Андрей Андреевич наконец взглянул Вадиму в лицо, но столько презрения и ненависти было в его взгляде, что Вадиму стало не по себе. – Этих подонков ты называешь экспертами?! Бурмин – руководитель экспертизы – бездарность, холуй и трус! Десять лет занимается кислородским нарзаном, давно забыл то немногое, что знал по терапии. Кого он подобрал в свою комиссию? Шерешевский и Российский... Они не терапевты, они эндокринологи, они не могут быть экспертами по делу Плетнева! – Он снова с ненавистью и презрением взглянул на Вадима. – Какой позор! Шерешевский – друг Плетнева, был вхож в его дом и вот предал. Предатели, предатели кругом, всюду, на каждом шагу предатели.

Вадим поежился. В словах отца, в его ненавидящем взгляде опять был намек.

Андрей Андреевич вроде бы отдышался, справился с собой и, стараясь говорить спокойнее, продолжал:

– Единственный, кто имел профессиональное право участвовать в экспертизе, это Виноградов – терапевт, звезд с неба не хватает, но практик приличный, ученик Плетнева. И вот ученик предает учителя. Испугался!

Он опять тяжело задышал, затравленно посмотрел на Вадима, поднял палец, прерывающимся голосом сказал:

– Бог им этого не простит. И неправедным судьям. И лжесвидетелям.

Того, что наговорил отец, с лихвой хватило бы на то, чтобы его расстрелять. Если он то же самое говорит в кругу своих сотрудников и друзей, то его арестуют завтра же. В каком свете тогда предстанет он, Вадим?! Отец – осужденный враг народа, сестра – в Париже, замужем за антисоветчиком. Тут уж никакие ордена и никакие «Вацлавы» не помогут. Подумаешь, «Вацлав»! Половина подсудимых на этих процессах – «Вацлавы»!

– Отец, не волнуйся! Ты же знаешь, тебе вредно волноваться, – заговорил Вадим, – но подумай сам. Плетнев – крупнейший наш терапевт, ты даже называл его «гордостью нашей медицины». Какой же смысл правительству его уничтожать? Тем более если, как ты говоришь, он ни в чем не виноват.

– Виноват, виноват! – закричал Андрей Андреевич, расстегивая воротник рубашки и мотая головой. – Он виноват не в том, в чем его обвиняют, а в том, что слишком много знает... Да-да! Когда убили Орджоникидзе...

Вадим привстал.

– Отец, одумайся, что ты говоришь?!

– Сиди! Я знаю, что говорю. Орджоникидзе убили, или он сам застрелился, там была огнестрельная рана. А в медицинском заключении написали: «Паралич сердца». Дмитрий Дмитриевич отказался это заключение подписать. Он мне сам рассказывал. Он – нежелательный свидетель, вот и расправляются с ним. Сначала оклеветали как насильника, а теперь представили убийцей.

– Но ведь он во всем признался.

– Пытали, вот и признался. Ведь они все признаются на ваших процессах.

Вадим сделал протестующее движение.

– Да-да! Не дергайся! Именно на ваших процессах. Выколачиваете признание пытками в подвалах Лубянки. Ваша преступная власть...

– Отец, отец, перестань! – закричал Вадим.

Мотая головой и теребя спущенный галстук, будто он душил его, Андрей Андреевич повторил:

– Преступная власть... Преступная власть... Все вы преступники, разбойники... И ты... Ты тоже преступник... Твои статьи подлые, мерзкие, ты преследуешь, уничтожаешь порядочных людей... Эта преступная власть тебя купила... Я знаю...

Боже мой, он сейчас скажет насчет «Вацлава». Нет, нет, этого нельзя допустить!

Вадим закричал:

– А тебя они не купили?!

Старик ошеломленно смотрел на него.

– Кто... Что ты говоришь?!

– Ты же ходишь к ним, лечишь их, – кричал Вадим, – они тебя ласкают, людям нечего есть, а тебя продуктами заваливают. – Он оттолкнул от себя тарелку. – Откуда эти цыплята?! От них! Да, я служу, но я служу идее, а вы служите за цыплят. – Он снова толкнул тарелку. – Сидите на шее у народа и его же обливаете грязью. Горький для вас все делал, выручал вас, спасал. Кто тебе отхлопотал эту квартиру? Горький! А вы чем ему отплатили? Отравили Горького...

Андрей Андреевич, не в силах вымолвить слово, хватал ртом воздух и обеими руками махал на Вадима.

– Да-да, своими ушами слышал. Здесь, в этой комнате, вы смеялись: «Именем Горького назвали театр, улицу, город, теперь и Советскую власть надо переименовать в Горькую власть». Слышал, слышал, сам слышал! Меня наградили орденом, ты даже не поздравил, а когда тебе дали звание заслуженного деятеля науки, устроил банкет, праздновал, свою награду принял с удовольствием, а я, оказывается, подлец и ничтожество. Все, хватит! Я знаю твоё отношение ко мне. Ты ради Вики продолжаешь якшаться с этой дамочкой Нелли Владимировой, а Вика замужем за иностранным шпионом, и ты это, по-видимому, одобряешь. Ты в этом году собираешься за границу, встретишься с Викой, и она вручит тебе какое-нибудь шпионское задание от своего муженька, а ты по своей глупости его с удовольствием выполнишь. И я должен жить под угрозой, что ночью придут и заберут меня и тебя как иностранных шпионов. Н-нет! Под такой угрозой я жить не желаю! Я не желаю слушать антисоветчину даже от своего отца. Не желаю! Мне это надоело! На-до-ело! Я тебе давно предлагал разменять квартиру, ты отказывался. Ну что ж, я это сделаю сам, я имею на это право, закон на моей стороне. И я тебе не советую возражать против размена! Да-да! Не советую! Не вынуждай меня говорить на суде правду о том, почему мы не можем жить вместе.

Во время этого монолога Андрей Андреевич теребил галстук, мотал головой, пытался произнести какие-то слова, но, кроме «ты...», «ты...», ничего выговорить не мог и наконец замолчал, закрыв глаза. Голова его свесилась набок... Вадим вскочил, подхватил отца. Старик снова начал хватать ртом воздух, чуть приоткрыл один глаз, взгляд был бессмысленный,

снова закрыл. Вадим с трудом дотащил его до дивана, уложил, положил под голову подушку, снял ботинки, укрыв пледом.

Андрей Андреевич лежал, закрыв глаза, то с трудом хватая ртом воздух, то затихал совершенно, будто не дышал.

Нужно вызвать «скорую помощь».

Но с отцом такое уже бывало, сердце неважное, однако всегда обходился без «скорой», не разрешал вызывать. Полежит, выпьет валерьянку или еще что-то, есть у него какие-то капли. И сейчас, конечно, пройдет... Приедет «скорая помощь», а отец к тому времени встанет. Неудобно, зря людей беспокоили, зря машину гоняли.

Отец лежал с закрытыми глазами. Вадим наклонился к нему, прислушался: как будто бы дышит! Взял руку, долго искал пульс, наконец вроде бы нашел. Слава Богу, выживет. Бедняга отец. Что ждет его? Не вписывается в современную жизнь, обречен на арест, на тюрьму, на муки, страдания, позор. И Вадим не может жить в ожидании катастрофы, которая его постигнет в случае ареста отца, он не перенесет, если отец вдруг назовет его «Вацлавом». Вадим подошел к телефону, снял трубку, услышал гудок, положил ее обратно на рычаг. Мысли путались в голове.

О Боже, что делать, что делать? Как жить, ежечасно, ежедневно, еженощно ожидая катастрофы? Отец сам нарывается на арест, не понимает, что в нынешних условиях нет места таким понятиям, как порядочность и совесть.

А что, если приступ не пройдет, что, если это совсем не то, что бывало раньше?!

Вадим снял трубку, набрал «03», занято.

Ну почему старики так эгоистичны? Стоят одной ногой в могиле, не боятся смерти, и не бойтесь, но не тащите за собой в гроб других! Сына пожалей, отец! Ведь сын еще и жить не начал! Разве 28 лет – это возраст?.. Нет, он не даст себя погубить, извини, отец, не даст, не даст! О Боже, но что же делать, что делать?

Вадим посмотрел на часы – половина девятого. Феня, когда уходит вечером к Феоктистовым, возвращается обычно в десять.

Вадим прошел в ванную. В домашней аптечке, висящем на стене небольшом шкафике с инкрустированной на дверце змеей, нашел эфирно-валериановые капли, рассмотрел дату выпуска. Прошлогодние. Все равно надо выбрасывать. Он положил пузырек в карман, вернулся в столовую, подошел к дивану, наклонился к отцу:

– Папа!

Отец не ответил. Вадим вглядывался в его лицо, даже веки не вздрагивали. Он взял руку, рука была холодная, он отпустил ее – рука безжизненно упала, коснувшись пола. Может быть, отец уснул? Ну что ж, так лучше, отоспится, все пройдет. Вадим открыл форточку – будет побольше воздуха в комнате. Конечно, все обойдется. А то, что промелькнуло в мыслях, все это так, глупости, не надо об этом думать, что будет, то и будет. А он пока сходит в аптеку за лекарством. Старое лекарство не годится, вот он и идет за новым.

По дороге в аптеку Вадим нащупал в кармане пузырек с валериановыми каплями, не вынимая его из кармана, отвинтил крышку и, зажав пузырек в кулаке, вылил жидкость на грязный весенний снег. Валерианка старая, прошлогодняя, все равно не годится, но не надо, чтобы видели, как он ее выливает, могут подумать какую-нибудь глупость. Навстречу попадались люди, озабоченные, усталые, спешили домой с работы. Как много появилось на Арбате незнакомых лиц. Все проходит. И все уходит. Ходила когда-то здесь его мама, давно нет мамы, ходила Вика, слава Богу, не появится больше в Москве, ходил парикмахер Сергей Алексеевич, и он пропал навсегда, и Саша Панкратов сгинул в Сибири, и Юрку Шарока не видно – перевели в другой город, а может быть, и расстреляли – с их братом тоже не церемонятся, Лену Будягину выслали, Нина Иванова тоже исчезла, всех разметало, никого нет. И отец уйдет. И он, Вадим, уйдет в свое время. Все условно, все быстротечно, годом раньше,

годом позже, в истории жизнь человеческая всего лишь миг. На углу Арбата он незаметно опустил пустой пузырек в урну.

В аптеке Вадим терпеливо выстоял в очереди. И кассир, и продавец были ему знакомы. «Что-нибудь для сердца, – попросил Вадим, – отец на сердце жалуется». Дали ему и вальерьянки, и капли Вотчела, Вадим поблагодарил и вдруг подумал: хорошо, что зашел сюда, хорошо, что его видели, почему так подумал, сам не знал, но подумал. Сейчас он вернется домой. Будем надеяться, отцу стало легче, он покажет купленные в аптеке лекарства. Смотрел в ванной, не нашел, побежал в аптеку, на, принимай и, главное, не волнуйся, видишь, чем это кончается.

Андрей Андреевич по-прежнему лежал в той же позе. Вадим окликнул его, отец не ответил. Вадим наклонился к нему, но дыхания не услышал, взял руку, отпустил, рука так же безжизненно упала на пол.

Вадим набрал «03», потребовал немедленно прислать «скорую помощь» к профессору Марасевичу. Что с ним? Сильный сердечный приступ. Адрес? Он назвал адрес.

Минут через двадцать в квартиру, сопровождаемый двумя санитарями с носилками, вошел молодой врач в белом халате, накинутом на пальто. У санитаров халаты тоже были надеты на пальто.

Почти тут же явилась Феня, заметалась, запричитала, Вадим прикрикнул на нее.

Врач присел на диван возле Андрея Андреевича, щупал пульс, слушал сердце, открывал веки. Потом встал.

– Мертвых не возим.

16

Вдоль стен – железные кровати, на спинках полотенца, стол без скатерти, четыре стула, кухонная тумбочка с посудой. Одежда висит на вбитых в стену гвоздях. Если бы не детская кроватка, тесная комната напоминала бы студенческое общежитие.

– С нами живет Маша, наша бывшая домработница, – объяснила Лена, – теперь уборщица на фабрике, в выходной сидит с ребенком, а я хожу по учреждениям.

Такой безысходной нищеты Варя еще не встречала. Все кругом бедные, но то бедность многолетняя, привычная, люди к ней приспособились. На Лену нищета обрушилась внезапно – выбросили из квартиры, выгнали с работы, ограбили, обворовали, лишили всяких средств к существованию.

Лена одевала Ваню, собиралась в магазин; Варя предложила пойти вместо нее.

– Там очередь, – предупредила Лена.

– С ребенком пускают без очереди?

– Кого теперь пускают без очереди?

– Постояю.

– Ну, хорошо, спасибо, вот деньги, купи две бутылки кефира.

– Может быть, еще что-нибудь?

– Ни в коем случае, больше ничего не надо.

Кроме кефира Варя купила сметану, плавленые сырки, десяток яиц и триста граммов мармелада.

– Хочешь закатить нам пир? – Лена с укоризной покачала головой. – В другой раз этого не делай. Я чувствую себя неловко.

– В другой раз посмотрим, – улыбнулась Варя.

К ней, смешно переваливаясь на чуть кривеньких ножках, подошел Ваня, уцепился за подол юбки. Хорошенький, беленький (в Шарока, подумала Варя), пучил на нее голубые глазки. Лена подхватила его на руки, села к столу.

– У нас было три обыска. – Она налила в чашку кефир, вложила в руку сына кусок хлеба, поцеловала его в макушку. – Один обыск – на Грановского, когда брали папу, другой – на даче, третий – здесь, когда брали маму. Забрали все – деньги, драгоценности, облигации, книги, мои платья, папины костюмы, ведь все заграничное, как можно оставить? Две комнаты сразу опечатали, все, что там было, тут же пропало – папины и мамины документы, патефон, даже велосипед Владлена. Я написала заявление, просила вернуть самое необходимое, никто не ответил. После обыска заставили расписаться, что никаких претензий к НКВД нет, пригрозили: «Не подпишете, ничего не оставим». Тащили прямо на наших глазах, взламывали замки у чемоданов. Все унесли, даже шкаф, по-видимому, и бедный шкаф оказался антисоветским.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.